

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1987

# ДЕНЬ ПОЭЗИИ 87 19

Советский  
писатель  
Ленинградское  
отделение  
1987



ДЕНЬ  
ПОЭЗИИ 1987



Советский писатель  
Ленинградское отделение  
1987

ББК 84.Р7  
Д34

Редколлегия:

ОЛЕГ ЦАКУНОВ — *главный редактор*

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ — *составитель*

СЕМЕН БОТВИННИК — *составитель*

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

ЮРИЙ СКОРОДУМОВ — *составитель*

ВАДИМ ШЕФНЕР

ВЛАДИСЛАВ ШОШИН

*Оформление Виктора Коломейцева*

На обложке гравюра *В. Фаворского*  
«Октябрь». 1928 г.

На 1-м фронтисписе гравюра *А. Страхова*  
В. И. Ленин, 1924 г.

★ ★ ★

Свобода приходит нагая,  
Бросая на сердце цветы,  
И мы, с нею в ногу шагая,  
Беседуем с небом на «ты».  
Мы, воины, строго ударим  
Рукой по суровым щитам:  
Да будет народ государем  
Всегда, навсегда, здесь и там!  
Пусть девы споют у оконца,  
Меж песен о древнем походе,  
О верноподданном Солнца —  
Самодержавном народе.

1917

*Велимир Хлебников*



ДЕНЬ  
ПОЭЗИИ 19 **87**

**ОКТЯБРЬСКИЙ  
ФАКЕЛ**

**СОЛНЦУ ТРУДА**

Радостью веют знамена,  
Пали оковы тюрьмы,  
Мира борцы неуклонно  
К солнцу шагают из тьмы.

Их не напрасно мы звали  
К битве с врагом до конца —  
Полымем вспыхнули дали,  
Местью зажглися сердца.

Ярым буруном восстанья  
Свергнуто иго царей,  
Узятся бедствий страданья,  
Счастье у наших дверей.

Хаос движений надзвездных  
Рушим ударом стальным,  
Силою мускул железных  
Зло раздробим...

Дружно за дело,  
Гордо и смело,  
Смело туда —  
К жизни свободной,  
Светлой, народной,  
К солнцу труда!..

1917

**МЫ ИДЕМ**

Разрушая все преграды,  
Все препоны, мы идем...  
Откровенья и наряды  
Миру новые несем.

Мощь призыва,  
Битвы сладость,  
Вихрь порыва,  
Веру, радость —  
Мы взлелеяли в груди...  
В юной, пламенной груди.

Мы — стремленье,  
Достиженье  
Светлой воли,  
Красной доли...  
Вперед:

Путь тернист, обрывы, скалы,—  
Мы зажгли призывный свет...  
Рдеют зори ярко-алы,  
Таёт смерти силуэт.

Полог ночи  
Разрываем  
И рабочих  
Призываем —

Встретить утро, солнце, день...  
Властный, ясный, красный день!  
Будут встречи,  
Клятвы, речи...  
Радость бедных,  
Сонных, бледных  
Деревень...  
Только веру сохраните,  
Души творчеством горят:  
На железе и граните —  
Разобьем цветущий сад.

1918

МАТРОСАМ

Герои, скитальцы морей, альбатросы.  
Застольные гости громовых пиров,  
Орлиное племя, матросы, матросы,—  
Вам песнь огневая рубиновых слов.

Вы — солнце, вы — свежесть стихии  
соленой,  
Вы — вольные ветры, вы — рокоты бурь.  
В речах ваших звоны, морские циклоны,  
Во взорах — безбрежность, морская  
лазурь.

Врагам не прощали вы кровь и обиды  
И знамя борьбы поднимали не раз.  
Балтийские воды и берег Тавриды  
Готовят потомкам пленительный сказ.

Как бурные волны, вы грозно вливались  
Во дни революций на невский гранит,  
И кровью орлиной не раз омывались  
Проспекты, панели асфальтовых плит.

Открытые лица, широкие плечи,  
Стальные винтовки в бесстрашных руках  
Всегда наготове для вражеской  
встречи,—  
Такими бывали вы в красных боях.

Подобно утесам, вы встали, титаны,  
На страже коммуны, на страже свобод  
У врат лучезарных, где вязью багряной  
Сверкает бессмертный семнадцатый год.

Герои, скитальцы морей, альбатросы,  
Застольные гости громовых пиров,  
Орлиное племя, матросы, матросы,  
Вам — песня поэта, вам — слава веков.  
1918

У НАС И У НИХ

У нас шестеренки  
Бегают, как девчонки  
Шестнадцати лет,  
А у них — нет.

У нас расплавленная медь —  
Не медь, а солнце, сброшенное  
в мастерскую;  
Ну где у них вот заиметь  
И перелить такую?

Наши стружки-серебрушки  
Что хорошие подружки:  
За одной другая вслед,  
А у них-то стружек — нет.

У нас паровой молот  
Мужественен и молод:  
Каждый удар легок и лих.  
А что у них?

Ах, зато у них, у текстилей,  
Сотни, тысячи девчонок,  
Смех которых звонче и теплей  
Разговора наших шестеренок!  
1924



Обложка книги Павла Арского  
«Песни борьбы», 1919 г.

ПАВЕЛ АРСКИЙ  
**ПЕСНИ  
БОРЬБЫ**



БИБЛИОТЕКА  
ПРОЛЕТКУЛЬТА  
ПЕТЕРБУРГ

СОВРЕМЕННОКИ

Пусть поют под ногами камня,  
Высоко зацветают поля,  
Для людей моего поколения  
Верным берегом стала земля.

И путиловский парень, и пленник,  
Полоненный кайеннской тюрьмой,—  
Все равно это мой современник  
И товарищ единственный мой.

И расскажут покорные перья,  
С нетерпеньем, со смехом, с тоской,  
Все, чем жил молодой подмастерье  
В полумраке своей мастерской.

Снова стынут снега конспираций,  
Злой неволи обыденный гнет.  
В эту полночь друзьям не пробраться  
К тем садам, где шиповник цветет.

Но настанет пора — и внезапно  
В белом пламени вздрогнет закат,  
Сразу вспышки далекие залпов  
Нежилые дома озарят.

И пройдут заповедные вести  
Над морями, над звонами трав,  
Над смятением берлинских предместий  
И в дыму орлеанских застав.

Наши быстрые годы неплохи  
И верны и грозе и литью,  
На крутых перекрестках эпохи  
Снова сверстников я узнаю.

1925



Вот уже почти что восьмилетье  
Ветер бьет свежей и голубей,  
Революция над жизнью и над смертью  
Каждую качает колыбель.

Пусть растет другое поколение  
С именем суровым — пионер,—

Нынче воздух звонкий и весенний  
Голосами этими пьянел.

Об одном я на судьбу ропщу лишь —

Слишком рано родила ты, мать,—

Я хотел бы по раздолью улиц

Вместе вот с такими бы шагать.

Нынче песню новую раздую,

Чтобы в ней гудели б города,

Только жалко, что совсем впустую

Проходили прежние года.

Мне бы сызмальства не по задворкам,

Малыши, мне с детства б, как и вам,

К ленинским прислушиваться зорким,

В будущее бьющимся словам.

Хорошо вам, битв упорных дети,

Ваш восход — свежей и голубей,

Революция над жизнью и над смертью

Каждую качает колыбель.

1925

## ОКТЯБРЬ

Он был рожден под небом Петрограда.  
Шумела осень в тучах и дождях.  
И эта ночь! Последняя преграда  
Перед зарей, горящей на штыках.

Здесь даже камни помнят, и нельзя им  
Забыть о том, как вздрогнули сердца,  
Когда народ впервые как хозяин  
Вступил под своды Зимнего дворца.

Как падал враг, от злости обессилев,  
Как на рассвете бурей в провода  
Врывалась весть во все концы России...  
И этот день! Он светел навсегда!

Его лучи открыты всем народам.  
И вот они дошли сквозь тучи тьмы  
До тех, кому в суровый час невзгоды  
По-братски руку протянули мы.

И там, уже в Советской Украине,  
И в новой Белоруссии отныне  
Идет, шумит дыханье Октября.  
Какая сердцу гордость и отрада:  
Он здесь рожден, под небом  
Ленинграда,—

И там, и там взошла его заря!

Пройдут столетья. Имена героев  
Войдут в сказанья, в песнях оживут.  
Но этот день — его века не скроют  
И никакие грозы не сотрут.

Он долетит, и ясный и крылатый,  
С него начнут потомки счет годов,  
И встанет он неповторимой датой,  
Как первый день побед большевиков.

Он здесь рожден, под небом Ленинграда,  
Мы этот город всей страной храним,  
Как жизнь храним, и встанем, если надо,  
И до конца, как надо, отстоим.

1940

## БАЛТИЕЦ

Крест-накрест лентой пулеметной  
Опунав грудь,  
Вступил моряк в отряд пехотный  
На славный путь.

Глядят зрачки его стальные  
Всегда вперед.

Над ними буквы золотые:  
«Балтийский флот».

Как шли под Пулковом к победам  
Отец и брат,  
Так встал и он за ними следом  
За Ленинград.

И чтобы враг не мог проклятый  
Вступить в наш дом,

Он бьет где пулей, где гранатой,  
А где штыком.

Он тверд, настойчив и бесстрашен.  
Его рука

Шлет на врага снаряды с башен  
Броневика.

Его учили дни и ночи  
За честь стоять

Отец — путиловский рабочий,  
Ткачиха — мать.

И штык его — врагу преграда,  
А пуля — месть.

Таких сынов у Ленинграда  
Немало есть.

Они идут, погибель сея,  
В дыму равнин,

Ни сил, ни жизни не жалея,  
Все, как один,

Туда, где боем воздух вспорот,  
В огонь и дым,

И с ними наш отважный город  
Непобедим!

1941

ЛЕНИНГРАДУ

Пусть живет это слово,  
и его не нарушу,  
Я о нем позабочусь,  
мечтой наделю.  
Я люблю Ленинград мой  
за светлую душу,  
За горячее сердце  
его я люблю.  
Я люблю этот город.  
Он солдат и рабочий.  
Он гордится своею  
судьбой боевой.  
Я люблю Ленинград мой  
за белые ночи —  
С легкой, зорями тронутой,  
словно шелк, синевою!  
Я люблю его в дни,  
когда вымпелы вьются  
На эсминцах,  
колонной рассекших Неву.  
Я люблю Ленинград —  
город трех революций,  
Я давно его в песнях  
любимым зову!  
Я люблю, когда он,  
пробудившийся рано,  
Вскинет ясный, спокойный,  
уверенный взор,  
В час,  
когда с «Красной нитью» заводит  
«Светлана»  
Или, может быть, с Кировским  
свой разговор.  
Начинается утро.  
Мы выходим, чтоб строить,  
Чтобы встать у марتنенов  
в наш испытанный строй.  
Начинается утро,  
и выходят герои.  
Их приветствует город.  
Он — тоже герой!

1953

НАВСЕГДА С ТОБОЙ

В почтовом ли, в пятьсотвеселом —  
не помню, давние года, —  
к тебе с путевкой Губкомола  
я ехал мальчиком сюда  
из-за далекого Урала,  
из той сибирской стороны,  
и сердце сладко замирало,  
что скоро явью станут сны.  
От детства напрочь отлученный,  
не знавший дольше ничего,  
растерянный и восхищенный,  
я стал у входа твоего —  
в худом пальтишке грубоватом,  
пошитом батенькой без затей.  
А было это в двадцать пятом,  
в начале юности моей.  
С широкой площади Восстанья,  
еще далекий, неродной,  
в холодном утреннем тумане  
ты открывался предо мной;  
заря еще не пламенелась,  
усталость ночи не сошла,  
но сквозь туман уже виднелась  
адмиралтейская игла.  
И голос мне твердил всегдашний:  
«Не затеряйся, новичок...»  
Я опустил к ногам домашний  
свой деревянный сундучок,  
где на обратной стенке крышки  
портрет наклеен Ильича,  
где с детства читанные книжки,  
стихи в тетрадах и свеча,  
где валенки и рукавицы,  
чтоб вьюга часом не сожгла,  
где шаньги черствые в тряпице,  
что мать в дорогу напекла...  
О город славных революций,  
да мог ли знать в то утро я,  
что навсегда с тобой сольются  
судьба моя и жизнь моя.

1957

Обложка книги «Рабочий мир», 1919.





**В УЛЬЯНОВСКЕ**

Тихо звенит капель.  
Льды идут, грохоча.  
Здравствуй,  
родной апрель  
имени Ильича!

Здравствуй,  
красив и нов,  
в утреннем солнце ал,  
город Семи Ветров,  
Красный Мемориал!

В бурю  
над Октябрем  
ветры твои сплелись.  
Будто весенний гром,  
в сердце ликует жизнь.

Звездный знамен полет.  
Волжской коснись волны —  
и сквозь тебя  
пойдет  
память твоей страны.

Днепр полыхал и Дон.  
Бой на земле крепчал.  
Прежде чем в эшелон —  
шли мы  
в дом Ильича.

Там,  
на красном столе,  
в книге, что для веков,—  
клятва Русской земле  
наших бронеполков,

тех,  
чей страшный огонь  
снится мертвым в гробах,  
тех, чей ветер погоня  
все хрустит на зубах...

Не был лет тридцать семь  
я на улице той.  
Умер за Карбусель  
славный товарищ мой.

А под Курской дугой  
за свободу земли  
в мемориал другой  
братья мои  
ушли.

Кружится шар земной.  
Каплет кровь со знамен.  
Знаем,  
какой ценой  
мир от беды спасен.

Знаем мы, что почем.  
Знаем, где друг, где враг.  
Поднятый Ильичем,  
бьется над миром  
флаг.

Крепко стоим на земле.  
Голос не задрожит —  
у Ленина  
на столе  
клятва моя лежит.

★ ★ ★

Когда в Неву втекают корабли,  
Стремительны, красивы, как ракеты,—  
Со всех широт торжественной земли  
Видны их флаги огненного цвета.

О, этот цвет!  
Он снится по ночам  
Голодным всем, как буря — океанам,  
И не один властитель замолчал,  
Глаза ожегши цветом этим самым!

Замри на миг, Истории река!  
У памяти на стереоэкранах  
Пусть шар земной,  
Как в ленинских руках,  
Качнется в голубых меридианах!

Хочу побыть на фоне тех знамен,  
Увидеть ту полуночную площадь,  
Откуда — дерзкий — начинался он,  
Октябрь, который флагами полощет.

Тельняшки — словно полосатый снег.  
«Аврора» — словно звездолет на старте.  
Семнадцатый.  
Октябрь.  
Двадцатый век.  
И Ленин,  
Устремленный к мирной карте.

Горит неугасимая звезда  
В российском небе, радостном и светлом,  
И облака летят, как поезда,  
Окутанные скоростью и ветром.

И песни Революции гремят,  
И мы с тобой идем за ними следом,  
И силуэты красных баррикад —  
Над каждой космической победой.

Высокая торжественность земли.  
Восход, как наши души, откровенен.  
Цветет звезда.  
Взмывают корабли.  
Двадцатый век.  
Октябрь.  
Великий Ленин.



**МАТРОСЫ В ОКТЯБРЕ**

Октябрьский шторм  
расправил флаги к осту  
На реях в бой готовых кораблей.  
В тот день казалось,  
будто Котлин-остров  
Сорваться хочет с мертвых якорей.

Волной вливались в улицы тельняшки,  
Звучал призыв:

— На штурм! На юнкеров! —  
И шли бойцы —

бушлаты нараспашку,  
Сверкая сталью вскинутых штыков.

— Вперед! К Неве! —

звенели резко фалы.

И ветер — в грудь.

И громче — в борт вода.

Такого всероссийского аврала  
Российский флот не видел никогда!  
И колыхнулась в Зимний гюйсов просинь  
Броском последним хлынувшей волны.  
В глазах матросов пасмурная осень  
Сменилась вдруг сиянием весны.

Не той весны, что расстается с нами,  
Едва дохнув теплынью ветерка,—

А той, что взвила пламенное знамя  
Над новой Россией

на века!

Той, что с «Авроры» громовым раскатом  
Вдруг над Невой рванула облака...

Вступали в Зимний воины Кронштадта  
Героями бессмертного броска.

**ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ОКТЯБРЯ**

Опять октябрьский ветер студит лица,  
у нас в глазах  
тех дней далеких свет,  
и площадей широкие страницы —  
как летопись  
сражений и побед.

Октябрьский штурм,  
ты стал бессмертной песней,  
плывет над Смольным  
алая заря,  
и город в свете осени чудесной  
весь — как живая память Октября.

Тут новых дней заложена основа,  
тут сжат был Зимний  
в грозное кольцо.  
По городу пройди — увидишь снова  
прекрасной Революции лицо.

Мы присягаем огненному цвету,  
своей земле, что счастье обрела,  
и знаем мы —  
вовек не канут в Лету  
отцов и дедов славные дела.

С той самой ветровой,  
тревожной ночи  
весь мир узнал «Авроры» силуэт,  
и славен город —  
воин и рабочий,  
ученый, и строитель, и поэт...

Своих героев зная поименно,  
он с поднятой проходит головой,  
и яркие победные знамена  
над Марсовым пылают,  
над Невой...

Не здесь ли  
поднят факел, полный света?  
Тот факел не померкнет никогда,  
и с каждым днем  
все ярче над планетой  
высокая Октябрьская звезда!

ПОЕЗД № 4001

В ночь с 10 на 11 марта 1918 года в поезде, перевозившем Советское правительство из Петрограда в Москву, В. И. Ленин написал статью «Главная задача наших дней».

Состав ушел со станции Цветочной  
В густую темь, оставив Петроград.  
Март провожал. Отъезд назначен  
срочный.  
Счастливо, Смольный — Октябрá солдат!

Латышские стрелки вновь в карауле,  
В дверях — «максим», не дремлет сталь  
курка.  
Вот с окружной на главный путь  
свернули —  
В Москву, в столицу едет СНК.

«Я сорок ноль один. Иду по главной...»  
Ночь впереди. Раскатистее ход.  
Зажегся свет: «Вот это очень славно!»  
Ильич на столик положил блокнот.

И карандаш торопится к бумаге,  
Ложатся строки грифелю вослед.  
Как много силы, мудрости, отваги,  
Чтоб вырваться из бедности и бед,

Нам нужно! Мы сейчас на повороте,  
Истории такой крутой излом.  
Да, мы одни. А сколько тех, кто против,  
Кто ждет подмоги, грезя о былом!

Нам нужен мир. Надолго, прочный,  
вечный.  
С ним выстоим, осилим, победим...  
Бледнеет, рассыпается Путь Млечный,  
Косматит ветер паровозный дым.

Уж рассвело. Он поднимает штору.  
Дописывает строки. Гасит свет.  
Наряд стрелков прошел по коридору.  
«Так сколько же в Москве я не был лет?»

А за окном — проталины на пашне,  
На реках созревает ледоход...

И вновь идут часы на Спасской башне,  
История по ним сверяет ход.



Паровоз на Финляндском вокзале,  
До чего ж невелик он на вид,  
И стоит он не в мраморном зале —  
В павильоне стеклянном стоит.

А вблизи, торопясь по привычке,  
Рассчитав до мгновения шаг,  
Пассажиры спешат к электричке  
И в метро по платформе спешат.

И уходят года неуклонно  
В мире, полном тревог  
и страстей,  
Изменяют свой облик вагоны,  
Паровозы уходят с путей.

Только он до конца себе  
верен,  
По труду ему выпала

честь,  
Он в любые года  
современен,  
И дорог его в мире не счастье.



**ОКТЯБРЬСКИЕ ГОРИЗОНТЫ**

От смелых бойцов  
Из чапаевских буден,  
От строек, поднявшихся  
В гуще таежной,  
Летит наше время,  
Но путь его труден  
По русской земле,  
Молодой и тревожной.  
Вы помните, взрывы  
Взметнулись, как взгорья,  
И кровью солдаты  
Поля оросили,  
И вдовы хлебнули  
Соленого горя,  
Но милости вражьи  
Они не просили...  
И вот они —  
Новые светлые взлеты!  
Мы стали взрослее,  
Сильнее мы стали.  
Раскрылись объятя  
Земли — горизонты,—  
Мы космос услышали и увидали.  
Октябрь!  
Ты явился живительным ливнем:  
Повсюду твои величавые всходы!  
Так пусть же идут к горизонтам  
счастливым  
Тобою раскованные народы!

**НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ**

Мир на земле — какое счастье!  
И я о том сейчас пою...  
Я, кровный сын Советской власти,  
На Красной площади стою.

Стою, седой, я перед нею,  
У Мавзолея и Кремля.  
Отсюда мне вся жизнь виднее,  
Видней родимая земля.

Стучит взволнованное сердце  
И вдохновляет жизнь мою,  
Чтоб от звезды кремлевской греться,  
На Красной площади стою.

И на ладонь рассветный лучик  
Садится в добрый час весны...  
Я становлюсь сильней и лучше  
На главной площади страны!

*Перевод с крымско-татарского С Макарова*

## ВОЗЧИК

*Ф. Шпакову*

— Здорово, старый!  
— Дак здорово,  
Дак будешь чей? Поди, не наш? —  
А я ему толкую снова:  
— Фомы Иваныча племяш.

О нем известно в каждом доме.  
— Ну, как же? Знаю... Очень рад.  
Дак он же конюхом в райкоме  
Работал десять лет назад.

Стоим, охотно балагурия.  
— Ты в отпуск? Или просто так? —  
Стоим.  
А в сердце бродит буря,  
Все тот же возчик — старый Шпак.

Опять бровей сердитый росчерк,  
А сапогам износа нет.  
Ах, этот знаменитый возчик  
Далеких отроческих лет.

Мы были мальчики, не парни,  
А он, пока хватало сил,  
Из нашей маленькой пекарни  
В простом фургоне хлеб возил.

Одoleвала нас тревога,  
Одoleвала нас чуть свет:  
«А хлеба мало или много,  
А хлеба хватит или нет?»

Ржаными корочками бредя,  
Мы долго ждали натошак.  
Кричали бабы:

«Едет! Едет!»  
И добавляли: «Едет Шпак!»

Колесам веря именитым,  
Все затихали голоса.  
Казалось, что фургон магнитом  
К себе притягивал глаза.

И вот, не слыша перебранки,  
Слезал тут возчик, худ и хром.  
Он полчаса носил буханки  
И сыпал шутками притом.

Волнуясь длинным разворотом,  
Дышала очередь сама  
Колесным дегтем,  
Свежим потом  
И хлебом, что сводил с ума.

А возчик, лихо сдвинув кепку,  
Шумел: «Раздайся впереди!» —  
И каждую буханку крепко  
Он прижимал к своей груди.

Опять у старого порога  
Мы повторяли, как завет:  
«А хлеба мало или много,  
А хлеба хватит или нет?»

Я вижу вас, мальцы босые,  
Проулок пыльный. Желтый склон.  
Век не забыть сороковые  
И вздох тревожный... И фургон.

Кивал, судьбой довольный, мерин,  
Хотя казался глух и слеп.  
Я дни свои все чаще мерю  
По золотому слову:  
Хлеб!

ВЕСЕННИЙ ОКТЯБРЬ

Алый флаг в рассветном озаренье —  
Ветровой, порывистый, живой.  
Я читаю, как стихотворенье,  
Свет и тень, и трепет огневой.

Вижу — след смертельного металла  
И салюта отблеск шелк несет...  
Про Октябрь написано немало,  
Но еще написано не все.

Где-то пропуск, или текст невнятен.  
На Октябрьской карте наших дней  
Разве не заметим белых пятен?  
А на красном белое видней.

Как же так — о близком, воспаленном  
Знаем меньше мы, чем о былом?  
Если время революционным  
Мы зовем, то суть его и в том,

Чтоб раскрылись сейфы умолчаний,  
Чтобы пафос праздничных колонн  
Не глушил негромких примечаний,  
Не теснил событий и имен.

Чтоб понять, чем истинно гордиться,  
Но и то поведать,— все как есть,—  
Где такие горькие страницы,  
Что без слез, наверно, не прочесть.

Надо, до последней капли надо  
Прошлое испить и стать мудрей.  
Но какая все-таки громада —  
Семьдесят Советских Октябрей!

И Поэту-главарю двадцатых,  
Зная путь страны, которым шел,  
Я из наших, вновь весной объятых,  
«Хорошо,— отвечу,— хорошо!»

Хорошо, что не таим ошибок,  
Ибо врачеваний нет иных,  
Чтобы от скептических улыбок  
Исцелить грядущих молодых.

Им нести, век новый постигая,  
Флаг, неотвратимый, как заря.  
И пускай в дороге помогает,  
Убеждает, предостерегает  
Яростная правда Октября!

**ГОЛОСА ОКТЯБРЯ**

★ ★ ★

В этом мире,  
Молодом и вечном,  
Словно капля в море  
Жизнь моя.  
Под твоим живу  
Пятиконечным  
Алым светом,  
Отчая земля.

Все мои надежды  
И тревоги,  
Все печали, радости —  
Под ним!  
Как огонь  
Необходим в дороге,  
Так он в жизни  
Мне необходим.

.С ним в пути  
Друзья-единоверцы,  
И душа  
Спокойна оттого,  
Что живу я  
С этим светом в сердце  
У Невы —  
На родине его.

★ ★ ★

Не молод я,  
Но каждый раз с приходом  
Всеобщего  
Такого торжества  
Мне хочется  
Стоять перед народом,  
Произнося  
Высокие слова.

Как солнце, вечно  
Ленинское дело,  
И говорит  
Поэзия не зря,  
Что сущий мир  
Наполнен до предела  
Живыми голосами  
Октября. .

И по земле,  
От края и до края,  
Весенней силой  
Клокоча в груди,  
Идет Октябрь,  
Людей объединяя,  
Идет Октябрь —  
И Ленин впереди!

**УГОЛОК МОСКВЫ**

Кремлевский уголок  
Москвы  
Под сенью  
Трепетной листвы.

Соборный,  
В главах золотых  
Над белым камнем  
Мостовых.

С гореньем  
Звездного огня  
В ночной тиши  
И в шуме дня.

Сосредоточье  
Всех дорог —  
Москвы  
Кремлевский уголок.

Во всякий час  
Поры любой  
Краса Москвы  
Перед тобой.

Здесь мысль острее,  
Слух острей,  
Глаза светлей,  
Душа добрей.

Не раз в раздумьях  
Мне помог  
Москвы  
Кремлевский уголок.

Не раз отсюда  
Слышал я,  
Как дышит  
Матушка-земля.

И различал  
В дыханье том  
И горький плач,  
И здравиц гром.

И нашей жизни  
Торжества  
Сосредоточила  
Москва.

И, дух собрав,  
Сняла секрет  
Со всех ошибок  
Прошлых лет.

Вдаль поглядела,  
Повела  
Людей  
На добрые дела.

Мой разум  
Тоже открыл  
Виденьем  
Будущих времен.

Как жизни счет,  
Как вечный зов  
Звон  
Государственных часов.





★ ★ ★

В ней печаль по вчерашним убитым,  
Песня тех, что надеждой горды,  
Стук прикладов по серым гранитам,  
Черных кожаных курток ряды.

Вихрем чувств, что не знают сомнений,  
Дышит в ней свет маячных огней,  
В ней — рыдания былых поколений,  
И грядущих восторженность в ней.

Словно блеск грозового разряда,  
Освещающий душу до дна,  
Над бессонной страдой Петрограда  
И над миром взлетает она.

И в железные строит колонны,  
Что себя не умеют беречь,  
И на подвиг ведет миллионы  
Словом истины Ленина речь!

*И Шпитель,*  
«Победа еще впереди», 1920 г., рисунок



ДЕНЬ  
ПОЭЗИИ 19 **87**

**ВРЕМЯ,  
ВПЕРЕД!**

ИЗ ЦИКЛА  
«ПОЗЫВНЫЕ ДЕТСТВА»

1. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЕСНА 1944 ГОДА

Закончится война не очень скоро,  
захватит и еще одну весну...

В лесу колонн Казанского собора  
играем мы с ребятами в войну.

Пока мы выясняли наши силы,  
скандалили и цапались пока,  
мороженщицу с ящиком сгрузили  
с подъехавшего вдруг грузовика.

Из — «до войны»: вся белая —

в халате,  
в косынке под крахмальным колпаком...

«Кончай бузу! Полундра, братцы, хватит!  
Мо-ро-жен-щи-ца! Разрази нас гром!»

Она откроет ящик свой фанерный  
и долго будет извлекать на свет,  
пред наши взгляды,

самый-самый первый  
послеблокадный

клюквенный брикет!

Вот зеркальце достанет,

вот подмажет

в улыбке рот

помадою губной...

Потом прикнопит к ящику бумажку  
с красиво нарисованной ценой.

И лихо мы,

хотели — не хотели,

присвистнем враз,

поскольку в те года

рублей таких

не то что не имели —

в руках-то не держали никогда!..

И все же я поверил в справедливость

весенним днем забытого числа —

когда с работы мама

воротилась

и мне брикет в подарок принесла.

...На всякий вкус, любых сортов и вида —

не специально, а меж прочих дел —

за жизнь свою

я, может, Антарктиду

и Арктику мороженого съел!

Но повторял себе тысячекратно

и повторять поныне не устал:

вкусней, чем тот брикет послеблокадный,

не пробовал ни разу,

не едал...

2. ПЕРЕРОСТКИ

В нашем третьем «Б» послевоенном,  
«на Камчатке», у окна во двор,  
возвышались Тимофей с Матвеем —  
локоть к локтю и к вихру вихор.  
Переростки.

Старше года на три,  
чем «нормальные» ученики.  
Инвалиды...

На высокой парте —  
три руки,

под партой — три ноги...

Костыли в углу — возле Матвея.

У Тимохи

голова бела,  
шрам ожога — розовый — на шее,  
порохом черненная скула...

Третий «Б» поры послевоенной:

три десятка стриженных голов

по вельню строгой гигиены —

«ежином», «под бокс» и наголо.

Тридцать

матерями «усеченных»

гимнастеров в обручах ремней,

сухопутных кителей — зеленых,

темно-синих — флотских — кителей.

Мода:

чтобы сумка полевая,

офицерский (высший шик!) планшет.

«Плод запретный»:

в сумерках развалин

покурить трофейных сигарет.

(Бег сорокалетья на исходе —

тех развалин и в помине нет.)

...В классе самый сильный — верховодит

за способнейшим — авторитет.

Кто-то был активней и речистей,

кто-то — расторопней и ловчей,—

Тимофей упорней всех учился,

самым сильным в классе был Матвей.

Но не это главным оказалось,

но иное светит сквозь года!

До сих пор свою былую зависть

к ним

переживаю иногда:

как они умели веселиться,

как они умели хохотать!

Давними салютами их лица  
вспыхивают в памяти опять!  
Радовались — тем уже счастливы,  
что дотла не выжжены с земли,  
что — перекореженные — живы,  
из лавины огненной ушли,  
заново

неповторимым Маем  
рождены под солнечным крылом!..  
(Это мы

тогда —  
не понимаем,  
это мы потом уже  
поймем...)

з осколок

Я лестницу свою не узнаю подчас:  
исправно лифт урчит... ни грязи,  
ни окурка...

Она ли передразнивала нас  
когда-то,  
осыпаясь штукатуркой?

Бывало, крикнет друг:  
«Агей! Айда гулять!  
Кончай, пижон, зубрить!  
На лыжах полетаем!»

А лестница в ответ: ...опять?.. опять?!.  
дурить... дурить... лентяи... ух!.. лентяи!..  
Гудел пустой пролет.

Сочился скудный свет  
из окон, тут и там залатанных фанерой.  
...Когда же поднимался мой сосед  
в шинели отставного офицера,  
я слышал на своем последнем этаже,  
как он уже на первом задыхался...  
И саднило в мальчишеской душе,  
и вздрагивало что-то в ней и гасло...  
Он первым был

в наш дом вернувшимся с войны,  
в наградах

и на вид — здоровый абсолютно,  
задолго до победной той весны,  
до самого могучего салюта.

Его между собой мы звали — Генерал.  
Он весел был, и добр,  
и мастер на все руки.

И нас во всем железно понимал —  
дружили с ним мальчишки всей округи.  
...Шли дни.

И годы шли — вставали в строй вдали.

Увидеть мне пришлось  
в один из полдней зимних:  
соседа к «неотложке» пронесли  
от нашего подъезда на носилках.  
Затих сирены крик. Застыла тишина...  
А через день наш дом насутился  
в печали:

«...Лежал под сердцем... Ждал...  
Война, война!..»

И головами взрослые качали...  
Под темную сосною,

над темной пустотой  
лежал наш Генерал в погонах капитана.  
Прощально снег кружился негустой,  
ложился на лицо его, не тая.  
Медалей — два ряда.  
Один ряд — орден...  
Была ли среди них на бархатной

подушке  
награда за последний из боев,  
за взятие безвестной деревушки?  
Где рота ночью в тыл эсэсовцам зашла,  
где «разговор» с врагом  
был страшен и недолог,  
где мина дело смерти начала,  
осколок..

Будь он проклят, тот осколок!..



Но если прислушаться, если взглядеться,  
Как движется грудь, как пульсирует

сердце,

То в зеркале этом покажутся снова  
Соратники Разина и Пугачева.

От них не осталось ни ржави, ни рвани,  
Ни упряжи конской, ни знамени ткани.

И голову не поцелует невеста,  
Упавшую с голого Лобного места.

И все-таки память в сердцах остается,  
Как вольное слово, как ясное солнце,

Как наши сказания, наши былины,  
Как песня, как присказка были  
старинной.

Но мы забывать нашей яви не вправе,  
Ее мы потомкам в наследство оставим.

Мы стольких Ньютонов в боях схоронили,  
Покоится Лермонтов в братской могиле.

И, может быть, новый не встал  
Маяковский,  
Погибший во славу российского войска.

И все-таки песнею память богата  
От старшего брата до младшего брата,

Как знамя, что нас осенило навеки,  
Как щедрые пашни, как мирные реки.

Вы видите мне на пороге столетий,  
Сегодня еще не рожденные дети.

О вас мы мечтали и верно служили,  
Мы были огнем в безымянном горниле.

И, может быть, мы не богаты дворцами,  
Но красное, в бурях хранимое знамя,

Что стало опорой грядущего братства,—  
Вот наше наследство и наше богатство!

★ ★ ★

Так повелось, что в снежном серебре,  
Когда отметить праздник сердце радо,  
Мы в этот зал в заветном январе  
Приходим в день победы Ленинграда.

Здесь место старикам и молодым,  
По стенам вьются тени цепким хмелем.  
Киваю незнакомым, но родным —  
Ну как, друзья, душой не постарели?!

И, словно разбивая бивуак,  
Мы забываем горести, разлуки.  
У старших здесь один блокадный знак,  
А рядом примостились дети, внуки.

Но есть места, я замечаю их,  
Где нет привычных незнакомцев старых,  
Порой бывает, умолкает стих,  
Подобно сердца гаснувшим ударам.

Но не печальтесь, добрые друзья,  
Пока живем, мы с вами быть готовы,  
А коль уйдем, пополнится семья  
Читателей иных, поэтов новых.

И с нами наше слово оживет.  
Да будет ветер тих и вечер светел  
В двухтысячный благословенный год,  
Чтоб мир и счастье принести планете!



В. Блинов.  
«Ленинград», 1986 г., линогравюра



## НАДО

Кто-то говорит для одних,  
кто-то говорит для других,  
кто-то говорит для третьих.  
Трудно, конечно,  
говорить всему человечеству,  
стоя на холодном ветру  
перед лицом всей вселенной.

Но надо,  
обязательно надо  
говорить  
всему бесчисленному человечеству  
перед лицом  
всей необъятной вселенной,  
не опасаясь  
пронизывающего до костей  
космического ветра.

Надо сказать человечеству  
все, что думаешь.

Пусть оно удивится,  
или расхохочется,  
или задумается,  
или заплачет.

Нельзя ничего  
от него скрывать.

## МНОГИЕ

Многие о чем-то мечтают.  
Одни — временами,  
другие — частенько,  
а третьи непрерывно  
о чем-то мечтают,  
непрерывно.

Многие на что-то надеются.  
Одни — слегка,  
другие — очень даже,  
а третьи — со страстью,  
с жаром,  
от всего сердца.

Многие чего-то опасаются.

Одни — чуть-чуть,  
другие — весьма,  
а третьи ужасно  
чего-то опасаются,  
ужасно.

Но некоторые  
ничегошеньки не опасаются,  
вот в чем несчастье!

## НА МОРСКОМ БЕРЕГУ

Вышел я на берег моря  
с душою открытой,  
и ветер,  
ворвавшийся в душу,  
все в ней  
разворошил.

Зачем же,  
зачем же  
вышел я на берег моря  
с душою, распахнутой настежь?  
Ведь знал же,  
что ветер  
ворвется в нее  
немедля!

А затем я и вышел,  
душу свою не прикрыв,  
чтобы ветер в нее ворвался  
и устроил в ней  
кавардак полнейший —  
именно затем!

Надоел мне порядок,  
царивший в душе.

★ ★ ★

Любовь не задалась,  
надежд не оправдала:  
одна — оборвалась,  
другая — опоздала,  
  
и третья — не сбылась...  
Но дням моим летящим  
хранить живую связь  
былого с настоящим.

★ ★ ★

Когда я настроюсь  
на мир и покой,  
на медные сосны,  
на берег морской —  
нужна мне  
для ровного счета  
одна еще чистая нота.

Меня подкосила  
тоска по тебе,  
но есть еще сила,  
спасибо судьбе,  
да вечная  
эта забота:  
одна еще чистая нота...

## НА НЕВСКОМ

Не по-летнему  
суетен Невский,  
не по-доброму  
свеж горизонт...  
В Старой Руссе  
застрял Достоевский,  
а у Пушкиных  
длится ремонт.  
Слег Некрасов,  
оставив «Записки»,  
в Риме Гоголь  
вкусил благодать...  
Из немногих,  
мне смолоду близких,  
никого уж почти  
не видать...

## СЛОВА

Я не спешу,  
приближаясь к зиме:  
слово пишу,  
остальные в уме.  
Мне ль привыкать  
в непогоду  
их отпускать  
на свободу!

Так ли грешно,  
притерпевшись к зиме,  
слово одно,  
остальные в уме,  
не поддаваясь  
остуде,  
бережно вывести  
в люди?..

## НАДЕЖДА

Между детством  
и юностью между,  
не жалея об этом  
поздней,—  
на меня возложили  
надежду,  
чтобы больше  
не думать о ней.

Я не сразу,  
но выбилась в люди,  
оставаясь при этом  
в тени,  
не всегда  
помышляя о чуде,  
но с надеждой  
на лучшие дни.

★ ★ ★

Перестал ходить паром,  
Обивает снег пороги,  
Баба тыкву на пороге  
Рубит длинным топором.

Сыплет семечки на печь,  
Разгораются уголья,  
Пересыпанная солью,  
Русская играет речь.

А за окнами бело,  
В белом крыши и заборы  
И далекие просторы,  
Где вчера еще мело.

★ ★ ★

Уже зимы подходит середина,  
Деревья все успели облететь.  
Ручей застыл — заснеженная льдина,  
Лишь медленных следов вороных сеть.

Но кое-где вода бежит, трепещет,  
Туда-сюда гоняет облака,  
Как будто бы бросает чет и нечет  
Таинственная темная рука.

Так и в судьбе, где страх жесток и темен,  
Но вновь надежда светит и дрожит,  
Как между льдистых, сумрачных разломин  
Вода еще живая ворожит.

Бурлит, шуршит, играет с небом в прятки,  
По камням дна проносит синеву,—  
Все вечно в ней — загадки и разгадки,  
Надеюсь на нее, пока живу.

★ ★ ★

Отталкивая пятками медуз  
И на волне вздымаясь то и дело,  
Вверяю морю ощутимый груз  
Земного человеческого тела.

А над собою вижу небосвод  
И в этот миг ему вверяю душу,  
И медленный прилив меня несет  
Туда, откуда я пришел,—  
на сушу.

На призрачную твердь земной коры,  
Где каждый шаг весомей с каждым годом,  
Где все живем, не ведая поры  
Разлуки с морем и с небесным сводом.

*В. Емельянов.*  
«Мне снится тайга». Из серии «Край неизведанный», 1983 г.,  
линогравюра.



ОСЕНЬЮ

Забор соседский,  
А над ним калина  
Багрянцем гроздьев  
Свой дарит привет,  
А ветер  
Гнет ее неумолимо  
И листьев на озябших ветках  
Нет...  
Вот у кого бы надо поучиться:  
Пора унынья, что ни говори,  
А та калина  
До тех пор бодрится,  
Пока не налетели  
Снегири.

## ОСЕННИЙ МЕД

Золотой осенний мед.  
Небосвод с подмокшим краем.  
Вон валун  
        в воде играет:  
вынырнет — опять нырнет.  
Кто сказал, что камень мертв  
в сердцевине и снаружи?  
Золотой осенний мед  
хоть кого собой проймает,  
жизнь в ком хочешь  
        обнаружит.  
И погожим утром тихим  
под присмотром  
        валунихи  
валуенок молодой  
заиграется с водой.

## ТРЕЩИНА

В квартире ночной — неожиданный звук.  
Очнуться и вскинуться —  
        надо так мало...  
Светильник включаешь и смотришь  
        вокруг:  
мир трещину дал?  
        Что-то с полки упало?  
Ну, правильно, с полки...  
        Конечно, пустяк:  
резиновый гномик, игрушка, пустышка.  
Поднимем, поставим.  
        Но как это вышло?  
Сомнение мучает:  
        что-то не так!  
В течение, в движенье — заминка на миг.  
И сон отлетел, и щекочет забота.  
Ведь что-то сместилось,  
        ведь дрогнуло  
        что-то:  
стена или дом?  
        Или все-таки мир?  
Колблем со всеми, со всем наравне,  
ты в комнате  
        словно над пропастью  
        черной.  
Такой одинокий...  
        Такой вовлеченный...

Живая ворсинка над нитью крученой  
в сплошном  
        бесконечном  
        вселенском  
        рядне

## ВРЕМЕНА ГОДА

Пока пустыри не оделись  
жестяночной пыльной травой,  
живи, ни на что не надеясь,  
а просто отметив:  
        живой.  
Но март на лихом повороте  
расплещет весну по углам...  
К работе бросайся, к работе,  
к любви, к безрассудным делам!  
Завяжет зеленое лето  
в цветке пуповину плода.  
Для плотника и для поэта —  
надсада, горячка, страда.  
Оделись леса позолотой,  
полого ложатся лучи...  
Но ты  
        во все руки работай,  
но ты  
        во все речи кричи.  
Зима тебя снегом завалит,  
сугробы навьют у ворот,  
друзей от порога отвалит,  
дороги-пути заметет,  
окутает жарко и влажно  
перинной ленивого сна...  
Вольно ж тебе  
        крикнуть отважно:  
мол, снова наступит весна!  
Быть может... Но только от сглаза,  
в боязни нечаянной лжи  
по дереву стукни три раза  
и пальцы крест-накрест сложи.

## СЕМЕН БОТВИННИК

### ПОРА, ЗЕМЛЯ, В НАБАТ УДАРИТЬ!

Я не забыл: весною этою,  
в ночные вглядываясь дали,  
следили люди за кометою,  
вестей небесных ожидали...

Уже давно в народе сказано —  
вернется грозная примета...  
Что принесет на этот раз она  
тебе, зеленая планета?

Одна,  
с неправыми и правыми,  
в глубинах звездного колодца,  
Земля —  
гнездо с детьми и травами —  
в морозном космосе несется.

Весы истории качаются,  
река беды  
грозит разливом,  
цивилизации кончаются  
землетрясением — или взрывом...

Похоронив свое наследие,  
они скрываются из виду,  
чтобы спустя тысячелетия  
в морях искали Атлантиду...

Над азиями и европами  
блуждает пепел Хиросимы —  
лишь со всемирными потопами  
такие  
бедствия сравнимы.

Но ведь тогда  
из бездыханного,  
водой наполненного мрака  
мир обращался к солнцу заново  
и зеленел, не зная страха...

Планета-сердце,  
ты пульсируешь,  
и птичий голос в рощах громок,—  
ужель себе могилу выроешь  
среди космических потемок?

Иль вправду ты,  
теряя зрение,  
летишь от солнечного света?  
Иные в мире измерения,  
и ни при чем уже комета...

— С планетой  
что-то несусветное,—  
сегодня слышится все чаще,—  
а ей нужна  
любовь ответная,  
сквозь пламя времени летящей.

Горчайшим опытом научены —  
иной войны, иного гула,  
мы не хотим,  
чтоб между тучами  
звезда погибели сверкнула,  
чтоб стала,  
сея мрак и тление,  
иглой смертельной  
в небе шарить...  
Мы знаем цену промедления —  
пора, Земля, в набат ударить!

### ПОКОЛЕНИЕ

Оказалась длинною дорога,  
дальний гром  
стихает за бугром...  
У меня ровесников не много —  
тех, что родились  
в двадцать втором.

Яростным отмечены каленем,  
с первых дней — в железе и дыму,  
мальчики —  
мы стали поколением,  
а оно и кануло во тьму.

Те друзья живут, я в это верю,  
в кленах,  
в обелисках у дорог...  
Оттого, запомнивший потери,  
никогда я не был одинок.



Нам таких зарниц  
досталась алость,  
дней таких невиданных настой...  
Мы из тех,  
чье детство затерялось  
где-то там, за огненной чертой,—

в луговой осталось,  
в тихой сини,  
песенкой в порушенном доме,  
потому, наверное, доньше  
наше сердце тянется к нему,

к далеко оставленным крылечкам,  
к островкам пробившейся травы,  
к довоенным дворикам и речкам,  
к небу довоенной синевы...

Память нас ведет  
проселком сырым  
и выводит в росные поля —  
ибо только в детстве  
пахнет миром  
бешено летящая Земля.

И доньше —  
странно, но доньше  
всей душой тянуться нам дано  
к мальчикам,  
которых нет в помине,  
к девочкам,  
которые давно  
белою осыпались сиренью,  
зернами, что пали на между...  
Все же  
к золотому поколенью  
я и до сих пор принадлежу.



Читаю мемуары полководцев...  
Читаю все, что ныне издается  
о днях войны,  
                            принесшей миру мир.  
Читаю мемуары полководцев —  
ведь сам-то был я взводный командир.

И чтобы легче было разобраться  
в нагроможденье замыслов и дат,  
процеживаю  
                            кроки старых карт —  
портреты отгремевших операций.

Да в полководческих делах салютных  
не вдруг-то и рассмотришь то,  
  что мне,  
при лейтенантских звездочках-малютках,  
пришлось хлебнуть в том адовом огне.

Размах глобальный высшим командирам  
достался с блеском маршальской звезды...

И все жна картах  
                                    (пусть микропунктиром)  
видны и лейтенантские следы.

### БАЛЛАДА О СЕДОЙ ТРЫН-ТРАВЕ

...А там, где беда,  
                                    там всегда — лебеда.  
Запомнил с мальчишества и навсегда!

И будто бы в чем-то трава виновата —  
по кромке листочков чуть-чуть седовата.

Неприхотлива ты, травка весенняя.  
Никем не обруганная,  
                                    никем не воспетая.

Трава одичания,  
                                    травка запустения —  
глушь беспробудная,  
                                    дичь беспросветная.

А виновата она иль права —  
по ней все едино,  
                                    ей все — трын-травы!

Первой встает на угольях пожаращ,  
на осыпях рвов, вдоль воронок и ямин.  
А нечего жрать, так лепешек нажаришь  
(с блокады рецепт мне запомнился  
  мамин!).

Теперь и не сыщешь ее без труда.  
Но и забвенью предать я не в силах  
тебя, лебеда,  
                            лебеда,  
                                    лебеда,  
на старых могилах,  
                                    на братских могилах.  
В них те, кто и на людях гиб,  
  и безвечно,  
кто, встретив беду темной ночью бедовой,  
в мальчишестве спел лебединую песню —  
и лебединую,  
                                    и лебедовую.

А песня, как кровь, солона-солона...  
Дружков неживых на траве  
                                    седина.

**РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ**

11 сентября 1973 года Виктория Варгас должна была лететь в Москву: ее, 22-летнюю студентку Чилийского университета, посылали в СССР продолжать учебу... Но ей не удалось улететь в тот день из Сантьяго — 11 сентября в стране произошел фашистский переворот. Через несколько недель Виктория все-таки сумела улететь, до сих пор она считает, что произошло чудо.

Для нее, молодой чилийской коммунистки, наша страна стала второй родиной. В нашем городе она училась в Финансово-экономическом институте им. Н. А. Вознесенского, защитила кандидатскую диссертацию по современной экономике Чили.

И — пишет стихи.

Она начала их писать еще в десятилетнем возрасте. Мало кто не занимается стихотворчеством в детстве, но потом, повзрослев, многие легко забывают об этом. Для Виктории Варгас поэзия не стала лишь детским увлечением, она стала — и есть — главным делом ее жизни. События, происходящие в мире, жизненные впечатления и переживания — все требует в ее душе поэтического отклика. В стихах Виктории — радость встречи с советскими людьми и боль воспоминаний о Чили, о народе, страдающем под сапогом фашистской диктатуры. И, наверное, главное в них — вера в то, что силам зла никогда не удастся победить силы добра.

Стихи Виктории Варгас неоднократно печатались в различных журналах, в том числе в ленинградских «Нева» и «Искорка», в газетах «Советская Россия» и «Смена».

Виктор Андреев

**ПРИЗЕМЛЕНИЕ**

Ароматом снега  
вошла я в свой двор,  
открытый навстречу весне.

Крылами, как птица,  
взмахнула над домом своим,  
крытым жестью надежды.

Локоном детства  
мелькнула в окне  
далеких годов.

Пронзенная воспоминаньями,  
привождена  
к небесам Сантьяго...

**ПЕСНЯ**

С нотной линейки  
вспорхнула белая нота,  
по веткам деревьев запрыгала,  
хочет  
завернуться в одежды ночи.

Вот — вторая светлая нота  
тоже вспорхнула,  
дитя полета.

Вот — красная нота вспорхнула  
и музыки душу уносит.

А черная нота  
прыгает, скачет,  
хочет вернуть подругу  
из глубины рассвета.  
И снова — белая нота  
в траур мечты одета.

А красная в бой устремилась  
против печали  
и, обескровленная,  
стихает.

Вся она — душа музыки,  
и она — возвращается.  
И ноты, как птицы,  
склонились над ней,  
пылающей.

*Переводы с испанского В Андреева*

## СКАКУН

Есть скакун  
в долинах моих,  
верный моим поводьям,  
но он рвется на волю,  
едва его тронет первый  
луч пробужденной зари.

Есть жеребец  
в селеньях моих —  
он сгорает со мною бок о бок  
на склоне дня  
у черты горизонта.

Рано-рано утром сегодня  
я пригубила первый глоток  
столпа,  
вознесенного к небу.

Я его увидела снова.  
И не смогла смахнуть с ресниц  
его образ.

Он унес мое сердце  
в горы и леса.  
Я скитаюсь с уздечкой  
по городам.

Ленинградское небо плачет  
в этот пасмурный день,  
вспоминая о павших.

Книги на табуретке  
наполняют меня своим светом.

Я свободна — счастливая узница,  
заключенная в эти просторы,  
на земле, в берегах которой  
плещется мое море.

*Перевод с испанского  
В. Михайлова*

## РАИСА ВДОВИНА



Какую службу я несу  
На Родине своей?  
А все коней, коней пасу,  
Пасу своих коней.

Ищу заветную звезду  
Да ворошу костер  
На трудовом своем посту,  
Во мглу вперяя взор.

И все не гаснет огонек  
В окне моем ночном,  
Пока меня не свалит с ног  
Тем, беспробудным сном.

В течение ряда лет мы на него  
Смотреть привыкли и бодрились сами,  
Как он по кругу двигался легко,  
Как бы являясь нашими часами,

И помогал нам думать и дышать.  
Потом он как-то с круга стал сбиваться,  
Поздней вставать, все ниже нагибаться  
И, что всего обидней, стал ветшать.

Уже смотреть на это не хотелось,  
Как времени проигрывал он бой.  
Потом оно само куда-то делось.  
Наверно, дед унес его с собой.

## ДЕД СМИРНОВ

Со временем боролся дед Смирнов,  
Давно свое одюжив поколение.  
А двор наш был как раз из тех дворов,  
Где как в театре видишь представленье.

Со временем боролся дед Смирнов,  
Хотя ни в ком не вызывал насмешек,  
А был на редкость крепкий он орешек,  
Как мы когда-то — молод и здоров.  
Домашних он своих гонял, как пешек,  
А в детстве им пугали шалунов.

Я, помню, как-то раз купила шкаф,  
Не подлежащий требованиям ГОСТа.  
Пришел Смирнов, раздвинул кушу баб  
И внес его мне в дверь легко и просто.

Краснодеревец, знал он мастерство  
И выглядел, как подобает рангу.  
Но крушит время наше естество,  
Как дерево, подвластное рубанку.

Сперва он на скамье сидел, как страж,  
Потом задумал, опершись о палку  
(Средину сцены занимал гараж),  
Вокруг передвигаться вперевалку.



Ни одного городка в табакерки  
не воротить, не вернуть под крыло  
голову: неумолимы проверки  
лет, увеличивающих число.

Четче и жестче, не то что когда-то,  
видеть механику темных глубин.  
Тайное явно, и чудо разъято  
на составные колес и пружин.

Звездные тайны — и то недалёко.  
Что ж до завесы поступков и слов,  
чуть приглядеться — сквозит подоплека,  
словно сквозь цифры устройство часов.



В перипетиях быта, бытия,  
в заботах, принимаемых без жалоб,  
видна под вечер в окнах жизнь твоя,  
но и скрывать ведь нечего, пожалуй.

Былой уединенности печать  
для наших судеб мало применима.  
Как ни ловчить, как шторы ни сдвигать,  
все та же ты, лишь больше уязвима.

Лучится в помощь ближних зданий  
вид —  
укореняет к общности привычку.  
Пронзив потемки, свет, что домовит,  
и уличный вступают в перекличку.

Как волнами, пронизан дом твой весь  
неотторжимым ветром перемены.  
Ко всем событиям, сколько их ни есть,  
глухими уж не станут эти стены.

И в новостях, идущих напролом,  
светящийся, как бы лишенный веса,  
фасад жилья, похоже, лишь прием  
условный, как над сценою завеса.



Вереницы подошв могут камень стереть,  
а на камне собьется подкова.  
Вроде ткани, что многих сумела согреть,  
износилось прекрасное слово.

Истончилась его беззащитная нить —  
чуть мерцает, желанная, рядом.  
Полюбив, избегают его говорить,  
заменяя касаньем и взглядом.

Полюбив, стих возводят, как храм  
на Нерли,  
чистотою, что неистребима.  
Все, что скажется в нем,—  
о любви, из любви  
и в защиту того, что любимо.

★ ★ ★

Добрый обычай  
В горах почитали всегда:  
Если мужчины  
В раздоре хватали кинжалы,  
Женщина тотчас  
Платок между ними бросала —  
И моментально тогда  
Утихала вражда.

Женщины мира,  
Что может быть мира важней!  
Сшейте ж платок  
Из бесчисленных ваших страданий,  
Сшейте из вдовьих,  
Терзающих душу рыданий,  
Бисером пролитых слез  
Оторочьте скорей.

Этот платок  
Полуночной бессонной порой  
Сшейте, покуда в пучину  
Не рухнули скалы,—  
Под ноги бросьте мужчинам,  
Покуда не встала  
Утром заря  
Обелиском над мертвой Землей.

★ ★ ★

*Александрю Грину*

Как пристально надо взглядеться  
В нависшие небеса,  
Чтоб выплыли к нам из детства  
Заветные паруса!

Как нужно без колебаний  
Своим доверять богам,  
Чтоб в пьяной матросской брани  
Услышать про Зурбаган

И чтобы безлунной ночью  
Сквозь липкий густой туман  
Увидеть во мгле воочью  
Бегущую по волнам.

Мечта царит изначально  
Над миром обычных дел:  
Действительность нереальна,  
Пока ты ее не спел.

## ПОИСК

Я золото люблю!

Не звон монет,  
не кольца, не хвастливые браслеты,  
что кандалами на руки надеты,—  
в их блеске для меня соблазна нет!  
Власть золота, чья колдовская сила  
на гибель столько судеб обрекла,  
мне — незнакома!

Золото — красиво!

Его природа в тайны облекла!  
Разгадка их влечет, как наважденье,  
к ней, как над пропастью по волоску,  
идешь к золотonosному песку,  
в подземный мрак — искать  
месторожденье!

Скупые рыцари любых эпох,  
ничто ваш трепет перед грудой злата,  
когда над пробой замирает вздох:  
— Есть золото! —

Как я в тот миг богата!

На этом чистом золоте — ни тени  
безудержной, корыстной, хищной той  
всесветной «лихорадки золотой»!  
Вне алчности и темных вожделений  
богатство взяв из глубины земной,  
неслышанною дорогой ценой  
мы каждый малый самородок ценим:  
ему дано служить высоким целям  
страны родной!

★ ★ ★

Я безнадежно отвыкаю  
От этих глаз и этих рук.  
Чужому голосу внимаю  
О неизбежности разлук.

О том, что снова будет рядом  
Всепоглощающая даль.  
Поет весенние бравады  
Моя осенняя печаль.

И жить одна учусь, не зная,  
Что я сама себе же лгу,  
Но я к тому, что отвыкаю,  
Никак привыкнуть не могу.

★ ★ ★

Одиноким быть не должен  
Одинокий человек.  
Это званье или должность,  
Закрепленная навек?

Одинокий одиноко  
В одинокий едет дом  
Мимо освещенных окон,  
Словно с горьких похорон.

Он холодный, словно льдина,  
Молчаливый, как скала.  
Занавеской паутина  
Свесилась из-за угла.

Тишина, как зверь лохматый,  
На пороге разлеглась  
И своею черной лапой  
Утвердила в доме власть.

Одинокий неудачник,  
Он смешон со всех сторон,  
Заколоченный, как дача,  
С незапамятных времен.



*В. Емельянов.*  
«Манящие острова» Из серии «Беломорье», 1974 г., линогравюра





По данным 1986 года, Ленинград  
расположен на сорока четырех остро-  
вах.

Мели, и мифы у нас, и кумирни,  
И я гадаю тебе на словах,  
Аборигенка, живущая мирно  
На сорока четырех островах,  
Где поутру нам вливается в уши,  
Нас возвращая на круги своя,  
Сорок четыре названия суши,  
Столь прихотливой, как воды ея.  
В надподоконных венках из гераней,  
В шорохе парков — всему свой черед —  
Мы — океания из океаний  
На островах сорока четырех!  
Как же нам тут не встречаться пореже:  
Эхо связало нас цепью минут —  
От сорока четырех побережий  
Милое имя разносится тут.  
А уж когда нам ветра уделяют  
Каплю вниманья на первых порах,  
Сорок четыре волны ударяют  
В сей удивительный архипелаг.  
А уж как примется ночь за чернила,  
Ты подивись — вот рука-то легка:  
В некое целое соединила  
Сорок четыре неравных клочка!

## ВЕРШИНА

Лиловые, желтые, ржавые эти холмы  
Неслись, обгоняя друг друга, не помня  
людей,  
На той высоте, где и впрямь  
не считаемся мы  
Свободней снегов, полноправней ветров  
и дождей.

Они удалялись на юг, повышая прибор  
Толпящихся спин, прижимая к запавшим  
бокам  
Холодные тени, и мы задыхались с тобой  
Их воющим воздухом, с пылью слюды  
пополам.

Ты поднял два камня и, прежде  
чем начали спуск,  
Прижал их друг к другу на выемке малой  
тогда,  
Насыпал осколки базальта оградою:  
«Пусть  
Не там, на земле, так пребудем хоть здесь  
навсегда.

И вместе». Должно быть,  
единственный миг  
Наш памятник хрупкий гора берегла,  
Но в разные годы я знала — и этим  
жила, —  
Что он невредим: ты его на вершине  
воздвиг.

...Ты знаешь, я только зимой нашу дачу  
люблю  
За то, что там печь, а в печи —  
ненасытный огонь.  
Ты книгу листаешь, а я саламандру  
ловлю  
В оранжевом пламени и обжигаю ладонь.

Там тяга гудит, как на гребне.  
Попробуй взойти!  
Но жизнь, полыхая, прекрасна  
в упрямстве своем...  
Поднимешь глаза: ничего не исчезло  
почти —  
Тетрадь на столе и немеркнувший блик  
над столом.

Что ж, если последняя воля и вправду  
вольна,  
Путем восходящих, легчающих облачных  
масс  
Мой пепел туда залетит, где гора,  
как волна  
Однажды к прижизненной вечности  
вынесла нас.

## ВОЗРАСТ

Иногда — очень редко — я вижу  
в теченье секунды,  
Что стареешь и ты,  
Что глубокая темная рябь посягнула  
И на эти черты.  
И немыслимой лепки подглазья и скулы  
Время тоже клюет,  
А усы с бороною морозом обдуло.  
Впрочем, это идет.  
Чаше думаю вот что: в базальтовом  
храме,  
Где убежище — в зной,  
Разжигали зимою огромное пламя,  
Чтобы грелся любой.  
И не только тепло, а еще озаренные  
своды,

Где изваяны барс и орел,  
Обнимали покоем среди непогоды  
Того, кто забрел.  
Ах, лицо твое — зимний Гегард  
над ущельем лавинным,  
Слышишь, время гремит?  
Но пылание щедрое неуязвимо  
Всякий миг.

★ ★ ★

Поэт, как будто тетерев токует,  
Откинувшись, колено обхватив,  
Все о своем да о своем толкует,  
Все на один-единственный мотив.

Все на одной-единственной струне,  
Да так, что аж мурашки по спине.  
Очнется, отряхнется, робко встанет,  
И будто бы беззвучный выстрел грянет.

★ ★ ★

Болью выдолблена  
  так душа моя,  
Будто легкая пирога  
  из ствола.  
Захочу — и уплыву я  
  в те края,  
Где не надо мне  
  ни кровя, ни стола,  
Ни постели,  
  ни любимого в постель,  
Ничего, как в чистом поле,  
  ничего...  
Только стружкой  
  завивается метель  
Где-то прямо  
  возле сердца моего.  
Длинно, длинно,  
  длинно тянется строка,  
И слова  
  острее лезвий ножевых!  
Сквозь меня теперь  
  проходят облака,  
Столько перистых  
  и столько кучевых...

★ ★ ★

Живешь вполсилы,  
  будто копишь впрок,  
Как будто нехотя  
  зубришь урок.  
Не зная, для кого,  
  по чьей вине...  
Как будто бы проснулась  
  не вполне.  
Смеркается ль,  
  светает ли? Бог весть...  
С ногами в кресло  
  пудобней сесть,  
В стекло,  
  сквозь отражение свое,  
Уставиться в иное бытие,  
Как будто гору  
  разом сбросить с плеч  
И силы потаенные  
  беречь.

## МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ



Дым костра у рассветной реки,  
Дым над берегом, тишью хранимым,  
Где сидят у огня рыбаки,  
Где пропахла уха этим дымом.

Он над сушей плывет, над водой,  
И плывет он меж ветками  
  сосен,  
Не войной он рожден, не бедой —  
Пусть же радость он людям приносит.

Дым рассветный над домом  
  моим —  
Он в речной затеряется шири,  
Дым Отечества — Родины дым,  
Как он нужен — единственный  
  в мире.

### ПОДАРКИ

Мне не забыть, наверно, эту зиму —  
Синела в старой варежке рука,  
А красный столбик полз неумолимо,  
И был он недалеко от сорока.

Сводило пальцы на ногах от боли,  
Но я из дома шел не на урок,  
Я в час полдневный торопился к школе,  
Чтоб сдать тяжелый сверток точно в срок.

Я нес из дома вещи меховые  
Для наших старших братьев и отцов,  
И были эти вещи как живые —  
Они тепло хранили для бойцов.

Горел багровый шар над горизонтом,  
И зрела сила взрослая во мне,  
«Все для Победы нашей! Все для  
  фронта!» —  
Кричал плакат на каменной стене.

### ЗЕНИТКА

Семь звезд на пушке, на зенитке,  
Ты их, о время, береги —  
Тянулись огненные нитки,  
Горели сбитые враги.

Давно уж нет того расчета,  
Что жил у огненной черты  
И целил в брюхо самолета,  
В его проклятые кресты.

Давно никто не крикнет:  
  «Воздух!» —  
Хоть и не тихо на земле,  
Но не сотрутся эти звезды  
На длинном пушечном стволе.

И детвора бежит по снегу,  
Где шла гроза, где шла беда,  
И ствол зенитки поднят  
  к небу,  
И не на время — навсегда.



Поздние дети — большая любовь!  
Матери нежность и строгость отца.  
Глядя на них,  
Согласится любой:  
Жизнь не имеет, не знает конца.

Вот разместилась семья за столом.  
Девочке — восемь, а мальчику — пять,  
Юность мужчины осталась в былом,  
Да и у женщины — белая прядь.

Выросли старшие дети давно:  
Замужем дочка и в армии сын,  
Но от любви в этом доме светло,  
Светит огонь ее, неугасим.

Только бы детям здоровым расти,  
Лучшего в жизни не стоит и ждать:  
Дочке косички помочь заплести,  
Мальчику книжку на сон почитать.

— Были, наверно, и трудные дни,  
Беды гостили, размолвки и боль?..—  
Лишь улыбнулись в ответ мне они.  
Поздние дети — большая любовь.

## ПЕЧНИК

Чтобы в жизни мне не пропасть,  
Чтоб судьба не была горька,  
Научился я печки класть  
В деревеньке у печника.

Старый мастер меня учил  
(Нет на свете его уже):  
Чтобы тяга была в печи,  
Тягу к делу имей в душе!

Чтобы печь давала тепло  
Так, хоть дверь зимой отворяй,  
Сделай праздником ремесло,  
Теплоту своих рук отдай.

Чтобы люди сказали: «Тут  
Виден мастер, а не пострел...»  
Чтобы хлеб,  
Что тебе дадут,  
Вкусным был и не подгорел.



**ЧУДАК ЧЕЛОВЕК**

*Вадиму Шефнеру*

В разгар зимы в вагоне зыбком,  
взъерошив перья воробьем,  
он вдруг сказал, сверкнув улыбкой:  
«Давайте, граждане, споем!»

Ни та, в манто, ни тот, в шинели,  
призыв шального бодрячка  
не поддержали... Поскучнели.  
Как будто умерли слегка.

«Чудак какой-то!» — шорох мнений.  
«Артист!», «Алкаш...», «Он что —  
всерьез?»  
...Как мы боимся откровений,  
как будто крови или слез.

Спеша забыть о человечке,  
все отвернулись от него.  
Он вышел где-то возле речки  
под дождь, под сумерки его.

Он в лес направился, к деревьям.  
Он песню пел, шуршал тропой.  
Он был какой-то давний, древний,  
еще умевший быть собой.

★ ★ ★

Не убежденным, мудрым, ярым,  
не знаменитым, не святым —  
однажды я проснулся... старым  
и улыбнулся — молодым!

В овраге пели птицы мая,  
рассада прела в парнике,  
и за деревней — не прямая —  
текла дорога вниз к реке.

Она была сырой, пологой,  
неразличимой в снег, зимой,  
и, ко всему, — была дорогой,  
приведшей странника домой.

**СНЫ ПУСТЫНИ**

*Андрею Платонову*

Пустыня. Память. Саксаул.  
Порожней юрты полусфера.  
Чужой в просторах жизни гул,  
чужая дышит правда, вера.

Гул переходит в шепот, в сон,  
в бездонный кашель из кургана.  
Волк, попирающий закон,  
как будто тушку тарбагана.

Ночь, обойденная добром.  
Жизнь, цепенеющая тяжкой.  
И городская, за бугром,  
встает, как крик, многоэтажка.

**НА УГЛУ**

Однажды стоило дерзнуть:  
«Эй вы там, на углу!  
Постойте! Можно вам шепнуть,  
как радуге, хвалу?»

Ваш юркий шаг за поворот  
нацелен — прочь шмыгнуть.  
Уймите страх. Откройте рот.  
Скажите что-нибудь».

Ушла. Свою имела цель.  
Как вдруг из-за угла —  
бездомный пес! В глазах — апрель!  
Печаль его светла.

Оторопев, вильнул хвостом,  
потом сказал: привет!  
А что потом? А смех потом.  
И — май. И жизни свет!





Счастлива мысль, которой не светила  
Людской молвы приветная весна!  
Безвременно рядиться не спешила  
В листья и цвет ее молодая сила,  
Но корнем вглубь врывалась она.

*А. С. Хомяков*

Глаза из-под бровей дремучих  
как из-под сумрачных веков.  
Красив, но главное — задумчив.  
Не Тютчев — все же Хомяков!

...Вздывавшие себя на вилы  
любви — на западных ветрах —  
не дрогнули славянофилы,  
не обратили совесть в прах.

Не из атласных недр алькова —  
из-под руин российских снов  
я слышу голос Хомякова,  
Русь пронизавший до основ.

Не кавалер, не обольститель,  
хотя и ратный офицер,  
скорей — святитель, просветитель  
сердечных сфер, а не... манер.

Лик, обрамленный русой гривой,  
предсмертный шорох с губ: «Москва...»  
...Не получилось с Третьим Римом.  
Но жив поэт. И Мысль — жива!

Шарик лопнул. Сохнет мыло.  
Тает в памяти узор.  
Но позвольте: что-то было!  
Что-то нам ласкало взор.

...В облаках дорожной пыли,  
друг мой, ангел ветровой,  
мы с тобою тоже были!  
Отдавали синевой...

Вознесенные над бездной  
в оболочке продувной,  
отражали свет небесный,  
излучали свет земной...

## БАЛЛАДА О МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЯХ

Ничего не изменилось  
ни снаружи, ни внутри,—  
настрогал в тарелку мыла  
и пускаю пузыри.

О кровавых войнах помню,  
ощущаю мысли жар,  
утонченно, как японец,  
созерцаю мыльный шар.

Оболочки переливы,  
побежалость, перламутр...  
Буду весел миг счастливый  
и еще полмига — мудр.

## ЛЕОН ГРОХОВСКИЙ

★ ★ ★

Сохнет белье...  
И излюбленный мною пейзаж,  
заключенный в пространстве меж  
  стенами зданья,  
напоминает мне мое далекое детство:  
малоохтинские улочки  
с их незатейливыми названиями —  
Тонева, Молчаливая, Соборная,  
  Глухая,—  
где в объятьях репейника,  
оглушенный его томительным запахом,  
пристально всматриваюсь (между двумя  
  бомбежками)  
в безмятежное небо,  
перегороженное аэростатами.



Гудком прощальным пароходным  
Осенний вечер оглушен...

*Сергей Орлов*

Видел в упор наведенное дуло,  
в танке горел,— но о ней ни строки,  
только лишь за год о смерти стихи —  
боли предчувствие не обмануло.  
Реже и реже писал о войне,  
хоть еще снились солдатские ночи...  
Каждая встреча с ним помнится мне,  
правда, дарил меня дружбой не очень.  
Тот неподдельный к стихам интерес,  
только увидит и прямо с порога:  
«Ты, говорят, нынче в прозу полез?  
Ты ведь душой стихотворец, Серега!»  
Как ему спится в московской земле?  
Живы и в силе иные погодки.  
Книга всегда у меня на столе,  
рядом живет его взгляд вологодский.  
Ездил книга повсюду со мной,  
выцвел портрет на обложке немного.  
Слышу вопрос не казенный, живой:  
«Как поживаешь, что пишешь, Серега?..»



На юрмальском осеннем берегу,  
где вес теряют люди на бегу,  
где больше гуся чайка на волне,  
а гуси меньше точки в вышине,  
где из воды со льдинками царевна-  
моржиха выбегает на песок,  
здесь чей-то мальчик в полдень  
ежедневно  
на флейте репетировал урок.  
Певунья-флейта в тоненьких руках,  
бывало, плачет робко, неподдельно,  
но смех сиял у мальчика в глазах —  
он жил, видать, от музыки отдельно.  
Он детством жил, весельем переполнен,  
он думал о забавах, о дружках...  
А я другого мальчика припомнил —  
в шинели и кирзёвых сапогах.

Припомнил марш, гремевший на  
разводах,  
суровый переблеск военных труб  
и музыку ядреную походов,  
паек голодный, жар опухших губ.  
Но музыка, что день-деньской гремела,  
над тем мальчишкой власти не имела.  
Всю медь оркестра вплоть до мундштука  
сменяет он, не поведя и бровью,  
на пулемет армейский ДШК,  
что бил иной,  
не барабанной дробью!



Ей двадцать минуло едва,  
как дочке у меня.  
Живет солдатская вдова  
сегодняшнего дня.  
Все было так же, как у нас,  
все повторилось вновь:  
девятый класс,  
десятый класс —  
и первая любовь.  
К ней их друзья приходят в дом,  
горюют за столом.  
Все в куртках, джинсах, как и он  
на фото под стеклом.  
В обнимку с ней, русоголов,  
глядит в глаза жены,  
такой же, как Сергей Орлов  
на снимке до войны.  
Дарил я прошлому слова,  
но в сердце у меня  
живет солдатская вдова  
сегодняшнего дня.

## ПОМИДОРЫ

Виршеплет, что изрядно меня допекал  
про свои лишь стихи разговорами,  
из Баку или Фрунзе когда прилетал —  
приходил ко мне в дом с помидорами.

Дом мой был у черты ленинградских  
болот,

вдалеке от колхозного рынка,  
ну а тут, как тряхнет вдруг на стол  
виршеплет

красноту — загляденье, картинка!  
Он читал мне и взор в меня цепкий  
вперял,

недоверчивый взор, воспаленный.

Он оценки мои из меня выгребал,

вытряхал, как из сумки паслены.

Я уступчив, характером я не гусар,

был гусарский, да время прошло.

Все равно — хоть за целый восточный  
базар —

я не стану хвалить барахло...

Что поделать, плохой из меня дипломат,  
поделом мне и кара за это:

лет уж пять помидоры летят и летят  
в направленье другого поэта...

На прилавке пылает тугой помидор,  
рядом с яблоком свежим, медовым.

Напишу я строку, как никто до сих пор,  
и себя угощу помидором!

## ЛАДОГЕ

Снова мысль о Ледовой дороге,  
Хоть промчалось полвека почти...  
Голубою могилой для многих  
Стала ты на солдатском пути!

Помнишь, Ладога, в давние годы  
Ты была под ледовым замком,  
Но под вой и под свист непогоды  
Был распахнут твой бомбами дом.

И в его ледяную утробу  
Шли машины на вечный покой...  
И забудется ль это до гроба,  
Отодвинешь ли это рукой?!

Не легко мне сегодня туристом  
Вдаль скользить по веселым волнам.  
Все же, Ладога, будь ты лучистой  
И ласкайся к родным берегам!

Как бы сердце кручина ни жала,  
Ни колола острей и больней,  
Но и горя бессонное жало  
Все ж затупится рашпилем дней!

## ВЕНОК

Раскачали волны теплоход,  
Ладожские вздыбленные волны,  
Микрофон на палубу зовет:  
— Трасса жизни!..—

И венок плывет,  
Скорбью душу каждого наполнив.  
И туристов влажные глаза —  
К прошлому прикованы туристы.  
Ну а мне, как сорок лет назад,  
Ладога предстала снова мгlistой!..  
Лет машина задний ход дала,  
И уперся борт ее в былое —  
Где сгорала тьма ночей дотла  
И солдаты умирали стоя!..

А венок качается, плывет,  
Где когда-то ухали морозы...  
Чайки замедляют свой полет —  
Смотрят на пылающие розы!..  
Попросить хотелось об одном,  
Глядя в густо-синие глубины:  
— Ладога, спусти венок на дно,  
Возложи на ржавые кабины! —  
Был здесь путь особо лют и крут.  
Позабывать ли павших Ленинграду?  
В сердце болью каждого живут —  
Значит, вечность им дана в награду!

**ДОРОГИ**

Дни проходят, проходят месяцы —  
все скитаюсь по городам.  
О, какое странное месиво:  
лиц, вокзалов, мелодий, дамб!  
Теплоходы... Аэродромы...  
Вся Россия во мне, со мной.  
Вся Россия мне стала домом,  
небо — крышей, леса — стеной.  
Мимо, мимо — тайга и пашни,  
мимо, мимо — мостов горбы.  
Сосны машут мне, ивы машут,  
горы кажут свои гербы.  
Люди, люди, и снова люди, и  
песни, звезды, зори, слова...  
Никогда душа не избудет их,  
те ветра, что я целовал.  
Юг и Север во мне перепутались:  
сто народов, сто языков!  
И Молдовой пленен, и якутами,  
на любой откликаюсь зов.  
Русь — страна моя, дом мой милый,  
дом, живущий в моей судьбе, —  
сколько б верст ни мелькнуло мимо —  
все дороги ведут к тебе!



Я доволен своею судьбой.  
Я уже никуда не уеду.  
Это я, а не кто-то другой  
от машины буксующей шел к буровой  
по рубчатому мерзлому следу.

Это я до рассвета глядел  
на костер, полыхающий жарко,  
и меня, а не вас в эту ночь обогрел  
грязный ватник, пропахший соляркой.

А потом, когда дизель умолк,  
это я различил на рассвете,  
как спокойно светлеет восток  
сквозь густые еловые ветви.

Оглядишься — уже не до сна:  
белым холодом дышит природа.  
И такая вокруг тишина,  
и простор, и покой,  
и свобода...

ШКОЛА

Над деревянной школою стрекозы.  
Зеленая лужайка у реки.  
Неторопливо курят старики,  
предсказывают на зиму морозы.

Над деревянной школою стрекозы.  
От церкви тень  
белеет на траве.  
Ведро звенит в колодце. Синеве  
созвучны белоствольные березы.

Сверкая тугоплавкой белизной,  
плывет над лугом, где пасутся козы,  
конусовидный спутник со звездой.  
Над деревянной школою стрекозы.

Тележные вдали скрипят колеса.  
Лицо подсолнуха повернуто на юг.  
Идет урок. И тихо задают  
ученики учителю вопросы...

★ ★ ★

Две наши тени шествуют по водам.  
Куда течет Нева — не нам решать.  
Дерев кариатиды с небосводом  
в пластическом единстве. Так держать.

Толстеет воздух. Звезд почти не стало.  
Фонарь столетний. Мраморный висок.  
Так я сказал. Так ты мне отвечала.  
Веками длится этот диалог.

Сады скульптурны. В ритме незнакомом  
фонтан играет. Сторож хочет спать.  
Кем сей пейзаж высокий сфабрикован —  
почти не знаем. И не надо знать.

★ ★ ★

Томясь тревогой, в полночь вышел я.  
Ни тяжести, ни крыльев за спиною.  
Непостижимый свет небытия —  
звезда к звезде — разверзнут надо мною.

В руке держу неяркую свечу.  
И взором разуместь не в силах чудо  
небесной бездны, в страхе не кричу.  
Но эхо возвращается оттуда...

## ЭЛИДА ДУБРОВИНА

### ДВЕ РОЗЫ

*Памяти палестинского поэта  
Муина Бсису*

Прощай навеки — и прости,  
Что не смогла, что не успела  
Я гневных слов произнести,  
Которыми душа горела.  
Прощай, прекраснейший!  
Твой прах  
Чужбина примет сердобольно...  
Мы говорим о соловьях:  
Им петь одно и то ж — не больно.  
Но в даях выжженной земли,  
Где смерть безвинных сиротила,  
Две розы кровью изошли,  
Две розы — Сабра и Шатила.

О чем же мог в тени ветвей,  
Чужих долин пришлец и странник,  
Петь одинокий соловей,  
Гонимый вьюгами изгнанник?  
Прощай, измученный певец!  
Ты свято долг исполнил сына.  
Как мать, терновый твой венец  
К губам прижала Палестина.  
И лепестки горящих строк  
Летят над судьбами людскими...

Две розы втоптаны в песок,  
И мертвый соловей —  
Меж ними...

★ ★ ★

Есть в кружении русской кадрили,  
В деревянной резьбе, в кружевах  
Тайна свежести: как мы любили,  
Как цвели на родных берегах.

Что-то есть от качанья качелей,  
От касания ласковых рук,  
От черемух лесных и метелей  
С бубенцами у дальних излук.

От березовой, с проседью, дали  
В листопадном дыму золотом...  
Тайна радости: как мы певали,  
Как мы песнями стали потом.



СЕГОДНЯ

НЕ ТОРОПИСЬ

Не торопись. Не наклей беду.  
Бедя всегда бежит на поводу  
Бессмысленной поспешности. За ней  
Азарт торопит табуны коней  
Безумия. И рушится сама  
Гармония пытливого ума  
В сомнениях растерянной души.  
На празднике природы не спеши  
За птицей нетерпения. Не сглазь  
Времен соединяющую связь  
Надежного родства. Не прогляди  
Пустыню отчужденья впереди.  
Там, где единство гибель сторожит,  
В бессмертье человечества лежит  
Бессмертье человека. Береги  
Познания извечные круги,  
Его начала и его концы.  
Пусть в сыновьях воскресшие отцы  
Почувствуют, что беспокойства дух  
В дороге совершенства не потух.

ЗАБВЕНЬЯ НЕТ В НОЧИ

Кому-то, для кого-то  
Я нужен, может быть,  
И мне моя забота —  
Об этом не забыть.

И мне с моей заботой  
Забвенья нет в ночи.  
Трудись, душа, работай,  
Звучи в ночи, звучи.

Тревог волшебный ящик,  
Не умолкай в груди,  
Всех спящих и пропавших  
И дремлющих буди.

Уж солнце прокололось  
Через туман греха.  
Пусть не смолкает голос  
Стиха и петуха.

ПОСЛЕ ВЕСЕННЕЙ ВОДЫ

Все было, было, было.  
И снова, как тогда,  
Всю дрянь земную смысла  
Весенняя вода.

Весна на вольной воле  
Меняет все вокруг —  
И зеленеет поле  
И побережный луг.

Весна полна отваги,  
И под ее пятой  
Уже кипят овраги  
Куриной слепотой.

Ликует, как бывало,  
Весенний синий день.  
И заблагоухала  
Под окнами сирень.

И солнце в окоме  
Льет золотую дрожь.  
И на нечерноземе  
Не ложь растет, а рожь.

И НЕТ КОНЦА У ПРЕВРАЩЕНИЙ

Где тайна тайн у жизни скрыта,  
Не скажут корпус и петит.  
Мир бесконечен, и защита  
У всех реакторов летит.

И нет конца у превращений  
Загадочного естества.  
И без успеха ищет гений  
Закон всеобщего родства.

И мука творческого духа  
За все ответственность берет.  
И время, огрызаясь глухо,  
Сквозь гибель движется вперед.

## ПЛЫВЕТ ПО НЕБУ ОБЛАКО

Плывет по небу облако  
Неведомо куда.  
Под ним земля зеленая  
И синяя вода.

Проходит тень от облака  
Над сушей и водой,  
Всему, чего касается,  
Оно грозит бедой.

Ложится тень от облака  
На синюю волну.  
Дельфин, увидев облако,  
Уходит в глубину.

И дикий зверь от облака  
Как бешеный бежит,  
Пшеница пригибается  
И яблоня дрожит.

Дождем исходит облако  
Над степью золотой.  
И плачут в поле чибисы  
Над мертвою водой.

## ОТ ВЗРЫВА АТОМНОГО ТЕНЬ

В весеннем мире стало кисло,  
И радость жизни уплыла.  
Над человечеством нависла  
Тень Люциферова крыла.

Все, что нам дорого и мило,  
Прошедший век, и новый день,  
И солнце ясное — затмила  
От взрыва атомного тень.

Она ползет над вешней пашней  
Через границы древних рек,  
Она стирает век вчерашний,  
Она уходит в новый век.

Земля и небо пахнут адом,  
Разгулом мирового зла.  
Она прошла над детским садом  
И мысль мою переползла.

Она весь мир перекалечит,  
Нигде не ведая помех.  
И мне от этой тени нечем  
Прикрыть беспечный детский смех.

## ПО СОВЕСТИ И ЧЕСТИ

По совести и чести  
Всем, что судьба дала,  
Для мира, с миром вместе,  
Соразмеряй дела.

Пиши для мира повесть  
Всех дел своих, как есть.  
И возродится совесть,  
И станет честью честь.

И вновь на свете белом  
Войдут в свои права  
И снова станут делом  
Забывшие слова.

Весенней правды воды  
Сотрут тоску беды  
И атомной свободы  
Безумные следы.

## СКВОЗЬ ЗРАЧКИ ТВОЕГО ОТКРОВЕНЬЯ

Не жена, не сестра и не мать —  
Ты была со мной редко и мало,  
Но ты душу мою понимала,  
Как никто не умел понимать.

Чем за это с тобой расплачусь —  
Нищетою растратчика, что ли,  
Иль оскоминой будущей боли  
Столбняка восхищения чувств?

Все равно я останусь в долгу  
На осколках разбитого долга.  
А дышать этой тайною долго  
Я, наверно, уже не смогу.

И еще доведется едва ль  
Мне на узком пороге сомненья  
Сквозь зрачки твоего откровенья  
Заглянуть в непомерную даль.

## НАД МОРЕМ

У скал, нависающих низко  
Над морем, венчая карниз,  
На грани восторга и риска  
Растет и цветет тамариск.

И там, под защитною сенью  
Сплетенья цветущих ветвей,  
Молчать своему вдохновенью  
Всю ночь не дает соловей.

И в песне его молодеет  
Вселенной живая душа.  
И сонное море немеет.  
И скалы стоят не дыша.

И небо, светлея, глядится  
В колышущийся водоем.  
И жизни и смерти граница  
Смыкается в сердце моем.

## ОДНОПОЛЧАНИНУ СТЕПАНУ ЗОЛЬНИКОВУ

В легкой дымке синий берег,  
Моря чистое стекло.  
Сердце искреннее верит.  
Сердцу тихо и светло.

В солнце с края и до края,  
Море золотом горит.  
Тайну тайне доверяя,  
Сердце с сердцем говорит.

В белой пене волны катят,  
Как кувалды в берег бьют...  
За любовь любовью платят,  
Сердце сердцу отдают.

После бури глуше, тише  
Волны на берег бегут.  
Сердце сердцем люди слышат,  
Сердце сердцем берегут.

## ТОВАРИЩАМ 1941 ГОДА

На закате горят города,  
Задышаются с детскими снами.  
Эшелоны уходят туда,  
Эшелоны, набитые нами.

Там трещит за редутом редут.  
Там сломался рубеж обороны.  
На закат эшелоны идут,  
Днем и ночью идут эшелоны.

На закате горят города.  
Не гляди, не надейся на чудо.  
Эшелоны уходят туда.  
Но они не вернуться оттуда.

Провожала нас Родина-мать.  
И шинель, и винтовку вручила.  
Не просила в бою погибать  
И в бою отступить не учила.

Нам судьбою узнать не дано  
Все о нас сочиненные были.  
Мы погибли без спроса давно,  
А о том, как погибли, забыли.

Пролетели над нами года,  
И салют отгремел многократно.  
Эшелоны ушли в никуда.  
И никто не вернулся обратно.

## НАДПИСЬ НА КНИГЕ ДЖЕЙМСА ДЖОНСА «ТОЛЬКО ПОЗОВИ»

Победы. Просчеты. Провалы.  
Салюты торжественных дат.  
Живут на земле генералы  
И в бой посылают солдат.

Легенды о подвигах бают  
И память, как жвачку, жуют.  
Солдаты в боях погибают,—  
В веках полководцы живут.

На кровь разгораются вкусы.  
И дьявол плодит дьяволят.  
И красноречивые трусы  
Вину на погибших велят.

И Правда в обители тесной  
Не спорит уже с Клеветой.  
И только Солдат Неизвестный  
Под мраморной стонет плитой.

## ОБЛАДАЮЩИЙ СИЛОЙ

В наше время недорого стоит  
Слово разума. Наоборот —  
Обладающий силой не спорит,  
И не просит, а просто берет.

Продолжается старая повесть,  
И кончается новый рассказ.  
Обладающий силой на совесть  
Не глядит, отдавая приказ.

Не звучит Аполлонова лира.  
Затухает холодный неон.  
И не гибелью Рима, а Мира  
Вдохновляется новый Нерон.

## И ВСЕ УВИДЯТ НАЯВУ

От предстоящих катастроф  
И полыхающих костров  
Дошедшие до точки,  
Друг друга ищут средь людей  
На старой ярмарке идей  
Слепые одиночки.

Там ищет первого второй.  
И оба — третьего. Порой  
Им это удастся.  
Ищи и ты мою беду.  
А я — с твоей — тебя найду.  
А третий сам найдется.

И каждый будет жить для всех  
И свой единственный успех  
Разделит честь по чести.  
И все увидят наяву  
Деревья, небо, и траву,  
И солнце жизни — вместе.

## ПРОЗРЕЛ СЛЕПОЙ...

Прозрел слепой на нашей улице,  
Весь мир улыбкой одаря.  
Вот он идет и не сутулится,  
Без палки, без поводья.

Идет один, самостоятельно,  
Переступив пустую тьму.  
И мир легко и притягательно  
Подлаживается к нему.

Идет, в неведение не кается,  
Надежным виденьем храним.  
И вся вселенная старается  
В его зрачках остаться с ним.

Прозрел слепой на нашей улице.  
Сам по себе прозрел. И вот  
Идет один. На солнце шурится  
И знает сам, куда идет.

ИДЕМ НАВЕРХ

И снова выход — колокол вещает.  
Не сетуй, что профессия нелепа.  
Погода ничего не обещает.  
Идем наверх, к потерянному небу.

Идем наверх, качая рюкзаками,  
Как караван, навьюченный поклажей.  
Качают тучи влажными боками.  
Лавины изготовились на страже.

Идем наверх, к потерянным вершинам,  
Растаявшим в тумане ядовитом.  
Кряхтят мои вспотевшие мужчины  
И дышат ушаченно и сердито.

И снова будет дождь стучать в палатку  
За днями дни, пока не утомится.  
И будет град вприпрыжку и вприсядку  
И снегопада белые страницы.

И, ощутив заброшенность, пустынность,  
Пересидим в палатке под горою,  
Пока вершина, оценив настырность,  
Свое лицо однажды не откроет.



И на каменные стены  
Натыкались облака.  
И отхаркивалась пеной  
Сумасшедшая река.

Обезумевшие чайки  
Крики хриплые несли.  
И осинники, качаясь,  
Нагибались до земли.

И листва над мостовою —  
Близкий родич воронью.  
Как недвижны мы с тобою  
У обрыва. На краю.



Романтичная наша работа...  
Наша радость пририта снегами.  
Умываемся собственным потом,  
Высоту набирая ногами.

И порою, конечно, рискуем.  
Но без риска — какая свобода?  
Слышишь, белые воды воркуют,  
Бесшабашные, быстрые воды?

Ни усталости им, ни печали.  
Разбиваются, вновь возрождаясь.  
Наглядеться не в силах ночами  
В эти воды луна молодая.



Полеты. Полеты. Полеты...  
 Обыденной кажется жизнь,  
 Когда,  
 Что ни день,  
 Переплеты  
 Такие —  
 Лишь только держись.  
 И держись...  
 Нет, не руками —  
 Душой за небесную даль.  
 И годы —  
 Кругами, кругами...  
 Все уже и круче спираль.  
 Но снова о чуде мечтаешь,  
 В кабину садясь корабля...  
 И вроде б все выше взлетаешь,  
 Да только все ближе земля.



Как воздух леса рыж и вязок!  
 Живой водой гордятся рвы.  
 Росток подснежника,  
 Как лазер,  
 Прожег слоеный наст листвы,  
 Что под ногой  
 Скрипит пружиной,  
 Как будто просится в костер...  
 И луч,  
 Кудесник лягушиный,  
 Рисует свадебный узор  
 На дне обросшей ивой лужи.  
 Лишь снег угрюмо ищет тьму.  
 Мне жаль его:  
 Он стал не нужен  
 В дни обновленья никому.  
 Вот-вот и он совсем растает  
 И будет позабыт навек...  
 Как на него похож бывает  
 Судьбой своею  
 Человек!

## МОЙ ПОСЕЛОК

Мой поселок пахнет дымом,  
 духом щедрого стола.  
 Мой поселок кем-то вымыт  
 до белейшего бела.  
 Избы в кипенных платочках  
 под сугробы прячут взор.  
 А следов вороньих строчки —  
 по каемочке узор.  
 Солнце алыми мазками  
 по окошкам разлилось.  
 Ветер зюйдовый ласкает  
 руки тонкие берез.  
 Вот опять пахнуло дымом.  
 Прокричал светло петух...  
 Мне бы стать необходимым,  
 прикипеть бы сердцем вдруг  
 к этим людям,  
 к этим избам,  
 к этим запахам земным.  
 Но бросает море вызов  
 устремлениям моим.  
 И опять крутые мили,  
 где покоя нет как нет.  
 И, грустя, поселок милый  
 кораблям глядит вослед.

В. Блинов  
«Заводской цех», 1986 г., линогравюра







★ ★ ★

За скирдами тепло и робко  
Глянул дальний светляк огня.  
На болоте пустая тропка  
Уползает в густой ивняк.

Над осеннею мглой пейзажа  
Блекнет месяц снопом овса.  
Трое суток... Пойми, нельзя же!  
Это — семьдесят два часа!

Это — три сероватые нитки  
Непомерно больших минут.  
Это — семьдесят две попытки  
Перестать подходить к окну...

★ ★ ★

Из-под снега — пятна глины,  
Видно, оттепель настанет.  
Лучше б холод бестревожный,  
Гипс наметов снеговых.

И не шли мне писем длинных:  
Ведь конверт легко обманет...  
Чтоб не бредить невозможным,  
Распечатывая их!

## СОРОК ПЯТЫЙ

И торжествуя, и скорбя,  
В руках с винтовкой и лопатой,  
Приветствовали мы тебя,  
В боях рожденный Сорок Пятый!

По ласке, миру и теплу  
Изголодавшиеся люто,  
Мы все бежали на Неву  
К твоим ликующим салютам.

Сплошная алгебра забот,  
Такие свежие потери...  
Но чувствовалось: в мирный год  
Судьба распахивает двери.

Прохожий радостно ловил  
Намек на прежний облик улиц,  
И даже тема «о любви»  
В литературе шевельнулась...

. . . . .  
Но в сердце — праздника кипенье  
И одинокий звук струны:

На майском пиршестве страны  
На озаренные ступени  
Не лечь твоей знакомой тени,  
Безвестный труженик войны...

## КАРДИОГРАММА

Опутают проволоками,  
а потом расшифровывают, как  
наскальную клинопись...  
Говорят: коронарная недостаточность  
или же — экстрасистола.  
Так называется звучно, научно  
горе сыновнее над могилой,  
что зияет пожизненно.  
Первое чувство, отвергнутое  
однокурсницей.  
Дружба, вдребезги разлетевшаяся.  
Стих, в котором ты обманулся,  
чтобы в поэзии все-таки не разувериться.

## СОТВОРЕНИЕ МИРА

После грозы  
солнце словно наверстывает упущенное!

Пряно, душно дымится Ривна  
в шорохе радужных капель,  
стекающих по зеленым ланцетам травы.

Испарениями дымится  
заваленная буреломом чашоба,  
сквозь которую наискось протянулись  
световые трембиты,  
роящиеся дождевою пылью.

Обсыхаю в щелястой времянке на пасеке,  
где командует пчелами бывший солдат.

Над железной печуркой курится рубаха,  
над железною кружкой — медовый  
парок.

Хозяин отпаивает меня, как бог,  
дважды мир сотворивший:  
весной сорок пятого  
и сейчас.



Пограничная зона.  
Ветер гонит волну.  
Только я и ворона  
сторожим тишину.

Только я и ворона,  
да еще вот луна.  
Пограничная зона,  
за спиною страна.

Я сливаюсь с дорогой,  
с иностранкой луной,  
с непрерывной тревогой  
тех, кто там — за спиной.

Становлюсь на мгновенье  
камышом на реке,  
ветерка дуновеньем,  
ржавой гильзой в руке.

Ты не каркай, ворона.  
Пусть поспит тишина.  
Пограничная зона —  
за спиною страна.

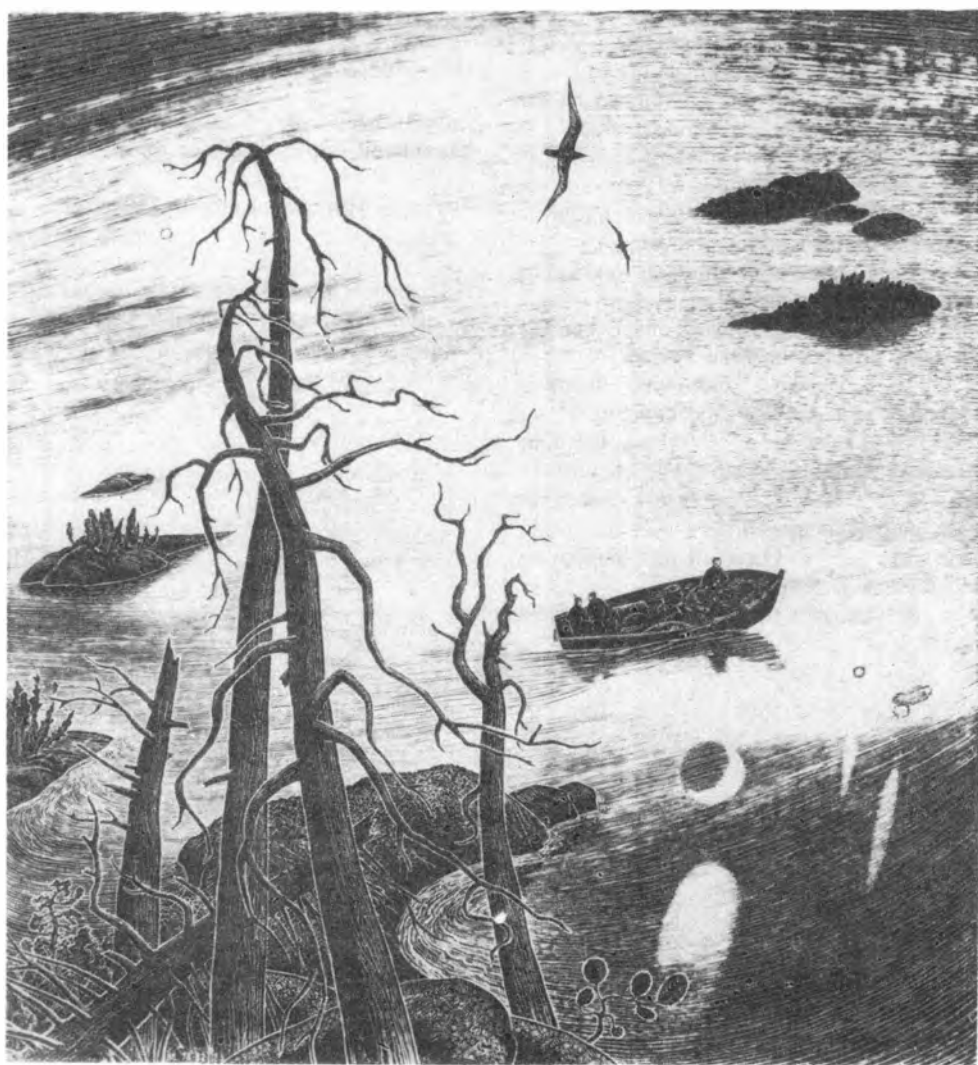
**БАНКОВСКИЙ МОСТ**

Этот мостик, уже многократно  
воспетый в стихах,  
И меня пригвоздил — стерегут мою  
память грифоны.  
Облупившейся краски чешуйки  
висят на хвостах,  
И канал Грибоедова снегом  
покрыт закопченным.  
В двух шагах переполненный зал  
предварительных касс.  
Катит тихо коляска,  
курсанты проносятся мимо...  
Пригвозждают места городские  
любого из нас  
К светлой памяти, горькой, любой,  
если неутолима.  
Как меняется время!  
И нету уже колдовства  
Сумасшедших влюбленностей,  
всех этих бредов, кошмаров.  
Стерегут этот мостик  
крылатые два существа,  
И даны крылья памяти людям,  
конечно, не даром.  
Поверну я к местам Достоевского,  
там поброжу,  
А потом вдоль канала отправлюсь  
домой, восвоюси.  
Как меняется время!  
Опять я им переброжу,  
Но билета к себе  
не куплю в предварительной кассе.



Изменился даже образ, даже облик.  
Человека не узнала бы я сразу,  
Если бы не этот голос, этот оклик,  
Не ершистая мальчишеская фраза.  
Изменился, изменился мой приятель.  
Хуже? Лучше? Для меня совсем  
неважно.  
Время — самый удивительный ваятель,  
Приглядитесь — убедитесь в этом  
каждый.  
Но как странно... Как тетрадка  
сшита скрепкой,  
Скреплены и нашей жизни эпизоды  
Школьной партией, белым бантом, серой  
кепкой,  
Группой «Битлз», Брижит Бардо на  
гребне моды.  
Патефоном скреплены и Пастернаком,  
И ершистой мальчишескою фразой...  
Оклик детства — не бегу за этим знаком,  
Я его и узнаю теперь не сразу.

*В. Емельянов*  
«К далеким островам». Из серии «Край неизведанный», 1983 г.,  
линогравюра



**КРАЯ РОДНЫЕ**

В лесу — криница. Чиста водица.  
Как не склониться, не причаститься!  
В родник глядится душа-девица.  
Ах, чаровница, как не влюбиться!

Брожу с рассвета и до рассвета.  
Какое лето! Как много света!  
Гляди, планета,— не чудо ль это! —  
Как мысль поэта, летит ракета.

А ниже — птица поет, резвится,—  
Не то синица, не то зигзица.  
Ах, озорница! — будто зарница,  
Вот бы за нею ввысь устремиться!

Бездонны воды, ясны высоты,  
Кругом щедроты родной природы.  
Гудят заводы и самолеты.  
Везде на годы полно работы.

Щедра земляца, добра пшеница.  
В селе, в столице красивы лица.  
Душа стремится с народной слиться.  
Как не гордиться, не поклониться!

Края лесные, края степные,  
И вдаль — родные, и вширь — родные.  
И, как впервые, клянусь в любви я  
Тебе, Россия! Моя Россия!

**БАТАЛЬНАЯ КАРТИНА**

Не гроза гремит за дубравую,  
Не дремучий лес долу клонится —  
В цепь развернутой грозной лавой,  
Сабли наголо, скачет конница.

Блещут молнии — пики острые,  
Гролом стук копыт рассыпается,  
Ясны соколы краснотелые,  
Мчат буденновцы, мчат чапаевцы.

Закаленная в битвах армия,  
В дело правое свято веруя,  
Большевистская, легендарная,  
Мчится красная кавалерия.

Сеча страшная, небывалая  
Загудит сейчас буйным пламенем.  
И сама заря ярко-алая  
Осняет цепь красным знаменем.

**СКАЗ О КОНЕ**

К родной реке спускаюсь с кручи,  
С берез в лицо летит пыльца.  
На зорьке «Кировец» могучий  
Ждет тракториста у крыльца.

Земляк мой, парень, видно, зоркий,  
Надежно трактор оседлал.  
Вокруг низины и пригорки  
Как по шнуру разлиновал.

Сегодня вон куда шагнуло  
Село от старого плетня!..  
И, словно ветерком, пахнуло  
Далеким детством на меня.

Морозы, помню, пели звонко,  
Вели пальбу на все село.  
Отец из хлева жеребенка  
Вводил в домашнее тепло.

У нас — ребят — светлели лица.  
А он, со звездочкой на лбу,  
Смешно раскидывал копытца,  
Скользил и падал на полу.

Мы так обнять его желали  
В курной избе при свете дня!  
Умом и сердцем понимали:  
Семье — погибель без коня.

Тот страх кого теперь тревожит?  
Иной размах стране был дан.  
И рычаги давно, не вожжи  
В руках моих односельчан.

И все ж, когда я здесь бываю,  
Гляжу на луг на склоне дня,  
Село родное, замечаю,  
Неполнокровно без коня.

**ЧЕЛОВЕК, ПОЛЮБИ ЧЕЛОВЕКА!**

На планете Земля — неспокойно.  
Да и было ль спокойно на ней?  
Прекращались раздоры и войны,  
Только снова седлали коней.

Вот и космос уже на примете.  
Став над пропастью, в бездну глядим.  
Как Земли неразумные дети  
Рубим сук, на котором сидим.

Не спасет ни утроба отсека,  
Ни глубинное в недрах жильё.  
Человек, полюби человека,  
Только в этом спасенье твое!

**БОТАНИЧЕСКИЙ САД**

*Дочери Марине*

Субтропики. Оранжереи.  
Зеленый мерцающий свет.  
Кавказ, Сан-Франциско, Корея.  
Фонтанчик. Медяшки монет.  
Акации вспышка. И белый,  
наверное крымский, песок.  
И, словно под сводом капеллы,  
сияющий голосок...

— А это?  
— Не знаю, малышка...  
Попробуй пойми... Мудрено.  
В латыни с тобой мы не слишком,  
я, правда, учил, но давно,  
тем более — классиков все же,  
поэтов...  
За двадцать-то лет!  
Вот, впрочем, на елку похоже...

Тропа. Кругосветный билет.

— А это?  
— Красиво.  
— А это?  
— Еще бы, конечно!  
Смотри...

...и тянет загадочным светом  
сквозь пальмовый куст изнутри,  
и ветка, внезапно растаяв,  
как выдох — мгновение всего! —  
вдруг слева опять прорастает  
из воздуха, из ничего,  
иного рисунка, иная  
причуда —  
но в этом ли суть?  
Названий — мы честно не знаем,  
но если вот так — на весу...

И нет несуразных кадушек,  
и снег заоконный — не снег.  
А просто — свободные души.

И, может быть, будущий век.

★ ★ ★

А надо побыть иногда одному,  
чтоб стало просторно  
душе и уму.  
Но, тропкой пустынной  
по лесу идя,  
не стоит чураться  
грозы и дождя,  
и высвиста птиц,  
и шуршанья травы,  
и ветки,  
что шапку собьет с головы.  
Ты принят в оркестр.  
И в данный момент  
молчанье твоё —  
это твой инструмент,  
и все,  
что трещит,  
и свистит,  
и поет,  
расслышит его  
и как надо поймет.





Поет, поет метель в полях,  
И кружатся снежинки.  
И катит Новый год в санях,  
И всё как на картинке.

И розовые снегири  
На кружевных березах,  
И стекла в окнах, посмотри,—  
В посеребрённых розах.

Мороз-художник, он мастак  
На выдумки, проделки.  
То за ночь выстелит большак,  
Как пухом, снегом мелким,

А то с мальчишками в снежки  
Игру затеет звонко,  
Зажжет цветные огоньки  
По всей родной сторонке

И нарумянит щеки мне,  
Как будто мне — семнадцать,  
Заставит в снежной тишине  
Меня шутить, смеяться

И верить в то, что Новый год  
Несет и мир и счастье,  
Что нас избавить от невзгод —  
В его могучей власти!

## ПАМЯТИ ПОЭТА

Я вновь и вновь припомню этот день,  
Припомню час, когда тебя не стало,  
Тебя, неповторимого, и тень  
Легла на все, что так вокруг сияло.

И у твоих я спрашивала книг,  
У солнца, что в доме твоём гостило.  
Какое одиночество в тот миг  
Тебя стеной от нас отгородило!

Как мог ты долю звонкую бойца  
Вдруг променять на тишь постели  
смертной?

А твой огонь и нынче жжет сердца,  
Твои слова и завтра не померкнут.

Поэзия была тебе сестрой,  
Подругой боевой, а ты ей — братом.  
Ее судьба была твоей судьбой,  
Ее дорога шла с твоею радом.

О, если бы и мне найти слова,  
Стремительные молнии живые,  
Широкие, как Волги рукава,  
Прозрачные, как струи дождевые!

## ДЕВУШКАМ-ЗЕМЛЯЧКАМ

Кто сказал, что счастья нет на свете?  
Девушки, не верьте, люди врут!  
Может, на другой какой планете,  
Где раздолжных песен не поют,

Где не вяют венков, не рвут ромашки,  
Не ломают наш весенний цвет,  
Где ни розовой, ни белой кашки,  
Ни черемухи — в помине нет.

Кто-то зря смеется, вы не верьте!  
Наше счастье им не по плечу,  
Может, им оно страшнее смерти...  
Вот и все, что я сказать хочу.

**ДЕРЕВЬЯ**

Весною взбьётся в оврагах вода,  
а кто ее видел до срока?  
Под тяжестью ветра гудят провода,  
у леса мелькает сорока.

Бормочет вода по оврагам степным,  
поля по весне размывая.  
Клокочет поток, но струится над ним  
высокая ива степная.

А с ивою рядом акации ствол —  
их ветви вплетаются в тучи,  
в их кронах трепещет небесный глагол,  
а корни впиваются в кручи.

Деревья округу хранят от беды,  
в них стойкость и цепкая сила,  
и мутным потоком внезапной воды  
овраги весной не размыло.

Отхлынет, шумя, из оврагов вода,  
поля всколосятся к июню.  
И тучи промоет степная звезда,  
на небе взойдя к полнолунью.

И, ровно и долго над миром горя  
и души насквозь высветляя,  
она осенит и снега января,  
и травы веселого мая.

**КУЗНЕЦ**

Гремели молоты-тяжеловесы!  
Не кузня —  
Жаром прокаленный  
Кратер...  
Кузнец ковал  
Упрямое железо,  
Как будто бы выковывал  
Характер.  
И дело шло  
Сноровисто и споро,  
А рядом вечность  
Длилась,  
длилась,  
длилась...

И в ней кузнец —  
Крутым огнеупором,  
И сердце из-под фартука  
Дымилось.

## РУССКИЙ ГЕНИЙ

Я знаю, скромн русский гений,  
И потому, что честен он,  
Несправедливостью гонений  
Сверх всякой меры наделен.

Всечеловеческого блага  
Повсюду жаждет он в тоске —  
Под знойным солнцем Мангышлака  
И там, на северной реке.

А то он едет за границу  
Из петербургского угла  
Не для того, чтоб сохраниться,  
А чтобы бить в колокола.

Но где бы ветры ни носили  
Его, в тревоге и в борьбе  
Он думал больше о России  
И лишь немного о себе.

Тот опыт жизненный бесценен  
И ныне каждому знаком:  
Народный вождь Владимир Ленин  
Был прост, но не был простаком.

Он презирал попытки лести,  
Чванливость, мстительную власть,  
Он чтит простор достойной чести  
И политическую страсть.

К друзьям заботливый и милый...  
Не надо забывать того,  
Какая нравственная сила  
В великой скромности его.

## ПОЗДНЯЯ ЛИРИКА

Стихи Твардовского...

Какая  
Там, в поздней лирике, печаль  
И восходящая, прямая  
Души трагическая даль.

Уже ей строй словесный тесен,  
Так разрастается она,  
Что не для песенок и песен  
Вся ширь ее и глубина.

Вся непреклонность, неукромность,  
И страсть, и мудрость бытия,  
И неискusstвенная скромность  
В оценке собственного «я».

И разговор о жизни сущей,  
И взлет в иные времена...  
С великой музыкой грядущей  
Она уже обручена.



Быть может, впрямь незримый некто  
Все спрограммировал давно,  
И вот опять ночное небо  
Брезентом туч зачехлено.

Уже погашено мерцанье  
Воды, асфальта и камней,  
И стало явственней молчанье  
У пирса ставших кораблей.

Маяк как бы впередсмотрящим  
Чуть вознесен на первый план.  
Меж будущим и настоящим  
Туман, один сплошной туман.

И если смывает порядок внешний  
И тайны прячутся в тиши,  
Тотчас включается неспешный  
Скрытый код твоей души.

Она, улавливая чутко  
Пространств и времени черту,  
В тебе воспитывает чувство  
Движения сквозь темноту.

★ ★ ★

Я не писал сонетов звездных,  
Пегаса плетью не стегал,  
Идя домой с полетов поздних,  
Я мирозданье постигал.

Я видел:

        нежности покорен,  
Росой обрызган и зарей,  
Рассветный сад дышал покоем,  
Как бы повиснув над землей.

Все освещалось и сияло,  
Как будто в солнечной пылице.

Я видел,

        женщина стояла,  
Вся -- ожиданье,  
                на крыльце.

Она была в рубашке тесной,  
С младенцем спящим на руках,  
И отражался свет небесный  
В ее расширенных зрачках.

**ЗРЕЛОСТЬ**

Давно сродниться с ней хотелось,  
 Все ждал,  
 Когда придет она.  
 И вот к столу присела зрелость —  
 И с глаз упала пелена.  
 И стало сразу же тревожно:  
 Путь вижу свой  
 Как с высоты.  
 И что казалось очень сложным,  
 Наивным кажется,  
 Простым.  
 А то,  
 На что глядел с улыбкой,  
 Забыть стараясь поскорей,  
 Непоправимую ошибкой  
 Теперь живет в душе моей.

**ГОРЕ**

А горе всех до срока старит.  
 Его мудрец боится  
 И протак.  
 Оно к земле нас гнет,  
 Морщины дарит  
 И красит сединой...  
 Все это так!  
 Но в горе,  
 Хоть его мы и не ищем,  
 С губ слизывая горечь от слезы,  
 Душа светлей становится  
 И чище,  
 Как роща у дорог  
 После грозы.

**★ ★ ★**

Над городом утки  
 Летят на ночлег,  
 Маршрут перепугав,  
 И месяц, и век,  
 И нынешний адрес,  
 И перечень дат,  
 И города абрис,  
 И год, и закат,

Над красной рекою,  
 Над черной водой,  
 Над мокрой землей,  
 Над жизнью самой,  
 Над милым пространством,  
 Высокой звездой  
 По быстрой, бесстрастной,  
 Бесстрашной прямой.

**★ ★ ★**

Прокричишь — и нет ответа,  
 Только ветви на весу  
 И прохладный голос флейты  
 В лиловеющем лесу,

И над сумрачным заливом,  
 Над равниной снеговой  
 Только низкий, торопливый  
 Лет вороны кочевой,

Только снега вздох протяжный,  
 Хрипловатый стон ледка...  
 Голоса любви и жажды  
 И весенняя тоска.



Спасибо, степь,  
                                за этот ветер,  
за этот синий окоем.  
Здесь я обрел себя..  
                                И встретил  
судьбу в младенчестве своем.

Спасибо, море,  
                                за безмерность —  
за широту и глубину.  
В душе храню тебе я верность,  
к твоей волне,  
                                как чайка,  
лгнул.

Спасибо, горы,  
                                за величие —  
за мощь,  
за свет вершин земных.  
Хоть и не горец по обличью,  
я здесь всегда среди своих.

И коль прижмет какое горе,  
твержу себе наедине:  
есть у тебя и степь,  
                                и море,  
и горы —  
в снежной белизне.



Клин журавлей шел высоко над морем  
куда-то вдаль,  
                                за самый край земли.  
С крутою непогодой в яром споре  
косым углом тянули журавли.

Шторм закипал,  
                                завариваясь круче;  
он ржал и топал,  
                                будто дикий конь.  
Над горизонтом закружились тучи,  
и не закат клубился,  
                                а — огонь.

Казалось, гам,  
                                за морем,—  
пепелище,  
где буйствует неистовый борей.  
Гроза пробила черной  
                                туче днище,  
и ливень смысл  
усталых журавлей.

## ТАЙНА

Подружки позавидовали Тане:  
им показалось, что она умней.  
Не красоте ее дивились —  
                                тайне,  
которую увидели вдруг в ней.

И взгляд огромных глаз,  
глубокий голос,  
и свет, и сумрак в Таниной косе..  
А было же:  
                                загадки — ни на волос,  
такая же простушка,  
словно все!

Откуда что?!  
Откуда в ней все это?!  
Не объяснить ни сердцем, ни умом.  
У всех подружек есть свои секреты.  
У Тани — тайна.  
Дело, видно, в том.



Зависть бывает как завязь  
новых добрых поступков —  
открытая щедрая зависть!  
А скрытая зависть —  
                                болезнь.

Став черной —  
                                угрюмой и злобной,  
она источает душу.  
И нет от нее исцеленья,  
и нет от нее лекарств!

## МЕТАФОРЫ ПАМЯТИ

*Всеволоду Азарову*

Рождаются в сердце метафоры  
одна другой грандиозней:

Свет Памяти,

Вахта Памяти,

Хранители Памяти,

Вечность.

И вот Экспедиция Памяти,

которую мы завершаем

в зимнем и солнечном Таллине,

дарит открытье мне:

память —

это как совесть.

И та и другая,

коль вдуматься,

есть категории нравственные.

И кто не способен помнить —

тот, увы, не Хранитель.

Кто не способен помнить —

на того положиться нельзя.

★ ★ ★

Трагична жизнь —

об этом помнить надо.

(Она —

как угли под седой золой...)

...Столетиями

гремела канонада

над русской

священною землей.

Стервятники

с голодным криком вились,

а стон людской —

как океанский шквал!

Горели села.

Города дымились.

И колокол

от гула остывал...

ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ!

Мы проходим, по травам  
Легким шагом скользья.  
Я прошу — оглянитесь,  
Дорогие друзья!  
Там — над кромкою леса —  
Догорает заря...  
Наши трудные судьбы —  
Это было не зря!  
Свет отцовского дома,  
Память, вечно храни!  
Опаленное детство,  
Небогатые дни...  
Было слово и дело,  
И во все времена  
Вместе с нами выросла  
Молодая страна!  
Выпал бой нам кровавый  
Посредине земли.  
Мы дорогами славы  
До Победы дошли!  
Да, фамилии наши  
В наших детях живут.  
Словно шумная роща —  
Рядом внуки встают!  
Там, над кромкою леса,  
Догорает заря...  
Наши нежность и верность —  
Это было не зря!

ЛЕТО

Мы спали в небесах — на сеновале...  
Мы плыли, отрываясь от земли.  
Над нами только ласточки сновали  
Да в щелях контрабасили шмели.

Петух весьма строптивым оказался:  
Истошным криком душу веселя,  
Он с явным раздраженьем отзывался  
На скрип колодезного журавля...

Звенел сквозь сон подойник по старинке.  
Теленок бил литым копытцем в сруб.  
И падали чуть слышимо травинки  
С коровьих вкусно плямкающих губ.

Над нами нежно облака вспухали.  
Таилась в тучах теплая вода.  
А мы дышали.

Спали — как пахали,  
Хоть не пахали в жизни никогда.

А на подушках сладостного ситца —  
Все в красных розах,  
чтоб дышать вольней! —  
Ну что плохого нам могло присниться  
Посередине родины своей?!

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ

Хранит свой дом крестьянская душа,  
Глядит вперед, но помнит и о прошлом.  
Стерня колюче тычется в подошвы,  
И хлеб в амбары сыплется, шурша...

Поклон твоей тяжелой борозде  
И русской силе, щедрой, незаемной,  
Которая в земле нечерноземной  
Таится, неизбывная, везде!

Хвала тебе, крестьянская душа!  
Распахнутая, словно это небо,—  
Всю жизнь свою ты ходишь возле хлеба,  
Своею трудной вольностью дыша.

Ты думаешь о главном, о земном:  
Ах, вот она — пшеница яровая!  
И солнце всходит ярым караваем,  
Луна сияет гречневым блином!

Свети над хлебом, мирная звезда!  
Бери от пашни строгость и сердечность,—  
Крестьянский труд перетекает в вечность:  
Пребудет он — и будем мы всегда!

Работа вечной тягой хороша.  
А мы хотим — с налету, с повороту  
Постичь в веках крестьянскую заботу...  
Храни наш дом,  
крестьянская душа!



*В. Емельянов*  
«Жаворонок», 1974 г., линогравюра.





В подлунном мире женщина живет,  
В ее груди  
Святое сердце бьется:  
Уж так давно  
Она все друга ждет  
И верит,  
Что когда-нибудь дождется,  
Что после долгих неземных дорог,  
За горизонтом, у зеленой пуши,  
Сойдет на землю ждущую — не бог,  
Но самый смелый из мужчин живущих.  
Откинёт люки звездный космолет,  
И запоют величественно трубы.  
И друг ее к груди своей прижмет  
И поцелует в солнечные губы...  
Да будет снова встреча горяча  
На перекрестках звездных расстояний.  
Свети, Земля, космический причал,  
До новых встреч!  
До новых расставаний!

**РОДИНА — КРАТКОСТЬ  
И ВЕЧНОСТЬ**

Медленно, словно лениво,  
Лунь пролетел и пропал.  
Тускло блестят на разливе  
Волны — осколки зеркал.

Шепчет о чем-то, качаясь,  
Чуткий шуршащий камыш.  
Лодочки дремлющих чаек  
В речке баюкает тишь.

Желтые листья-пилоты  
В дали летят надо мной.  
Видится дивное что-то  
В этой картине родной.

Соединяются словно  
В сердце с мгновеньем века,  
Как в песне слово со словом,  
Как с берегами река.

Родина — утро и вечер,  
Свет милых глаз, горя тень,  
Родина, краткость и вечность,  
Дальний и нынешний день.

И те сельчанами забыты,  
В домах тоскливо и темно,  
Окошки досками забиты,  
Дворы разломаны давно,

О днях былых напоминая,  
Стоят постройки у леска.  
Течет дорога полевая,  
Летят над нею облака.

Дома на картах не означат,  
Они лишь в памяти, в душе.  
Теперь о них никто не плачет,  
А может, некому уже?

Не звякнут ведра у колодца...  
Но верю — ветер перемен  
В дома забытые ворвется,  
Жизнь зашумит у этих стен.

Все сделают, все смогут люди,  
И близок тот желанный день,  
Когда в любом краю не будет  
Забытых душ и деревень!

**ЗАБЫТОЕ СЕЛЕНЬЕ**

Глядят строения уныло,  
Деревня малая пуста,  
Знать, время всех переселило  
Куда-то в новые места.

Кто на заводе, кто на сплаве,  
Кто в Кандалакше, кто в Москве,  
И яблоки лежат в канаве  
И на лугу, в сырой траве.

Тишь. Где же юность, где же старость?  
Хотел ли кто такой судьбы?  
Была большой, теперь осталось  
От деревеньки три избы.

## ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

Живая изгородь, ветвей переплетенье,  
Ползи, клубись,  
Как дым, скрывай от глаз волшебное  
виденье —  
Чужую жизнь, цветы, выталкивая ввысь  
Побеги новые, мне этот бег на месте  
Сумбурный нравится сырой,  
Живая изгородь, кто посадил все вместе  
Кусты, тот жив хотя бы летнею порой,  
Когда вот так шумят вертлявые листочки.  
О нет, не умер он,  
Живая изгородь, я встану на носочки,  
Как ты, на цыпочки... туманный, чудный  
сон!

С каким смущением мы каждый раз  
заходим  
В чужие комнаты, нам мил чужой уют,  
Живая изгородь... глядим, глаза отводим,  
Быть может, веточку нам ветры в ней  
пригнут? —  
И вдруг увидим жизнь чужую:  
Ребенка нянчат, гладят пса.  
К стене клубящейся я подойду  
вплотную —  
Густая, пенная, сплошная полоса.

И море вспомнится в шторм сильный,  
семибалльный.  
Кипит и катится, лохматее руна,  
С дремучей живостью печальной,  
Живая изгородь, падающая волна.  
Мы не купались в нем в те дни, лишь  
подходили  
К нему с волнением в груди...  
От зла, от ужаса, от распаленной пыли,  
Живая изгородь, от горя защити!

Как будто высажены, выращены  
строки —  
Такой у них надежный вид.  
Сны перепутаны, слова неодиноким,  
Ночь дышит, колетса, на месте не стоит.  
Сучки и прутьики, цветы, в их бледном  
зеве  
Дрожит холодный пот,

Так в мирном шествии на мраморном  
рельефе  
Бредет какой-нибудь забытый царский  
род,  
Шипы, и ниточки, и клочья паутины...  
Мы тоже движемся... мы также  
зарастем...  
Обиды, радости, морщины.  
Живая изгородь, ты видишь: мы живем!

★ ★ ★

На Невском — гулкий лес Казанского  
собора,

Многоколонный, дарит тень  
Густую, в завитках коринфского убора,  
В июньский знойный день.

Зашли в нее на миг — как будто все  
забыли:

И зной, и толчею.  
В казенном дремлет так шофер  
автомобиле,  
Пока начальства нет, доверься забутью.

А пышная сирень дымитса на опушке,  
Полуотцветшая... Как знать,  
Кто здесь стоял до нас, Державин или  
Пушкин?  
Прохлада, благодать.

Шаг в сторону — и вновь тебя обступит  
время,

Облапит, обоймет;  
И рифмы нет к нему отзывчивей, чем  
бремя,  
Не сбросишь с плеч его, счастливый  
миг — не в счет.

А все же тяжесть дня не слишком тяжела  
мне,

Пудовая... Сравнить желанье велико  
С ней римский этот лес из пудожского  
камня.

Что любишь, то легко!



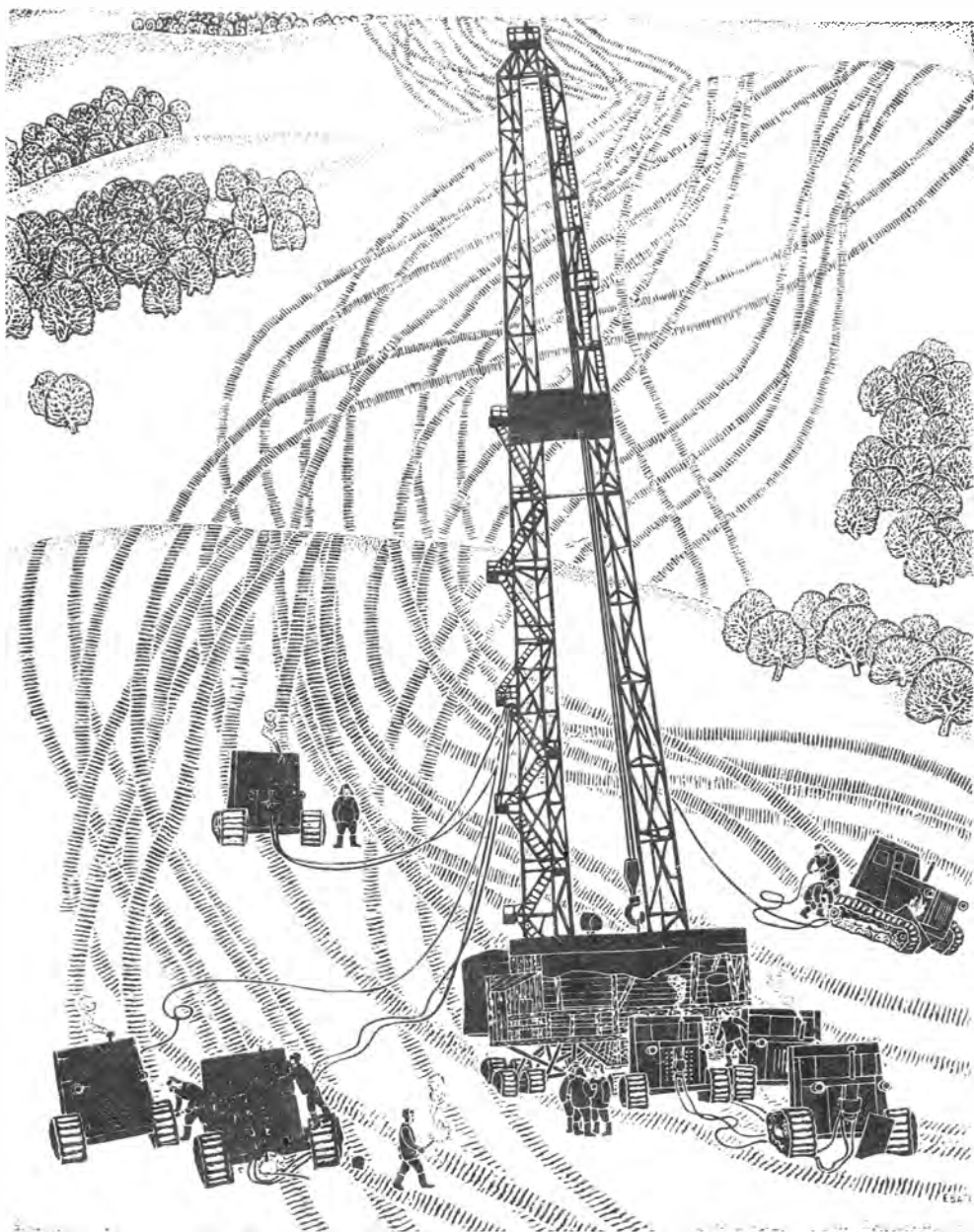
Кто построил, не помню, такое большое  
гнездо,  
Неужели Нерон, сумасшедшая, грязная  
птица?  
Здесь, на севере, нас не обидит, не тронет  
никто.  
Не облапит, рыча, нумидийская потная  
львица.

Буду буйные эти любить на ветру тополя  
И приневскую сырость в Калужском  
своем переулке.  
Век не тот, и не та, не узнать, изменилась  
земля.  
Отдыхай, Колизей, в золотой  
итальянской шкатулке.

Так хотелось увидеть... Ты думаешь,  
каждый поэт  
Себя чувствует ссыльным вдали от  
прогорклого Рима?  
Те желанья прошли. Ничего прозаичнее  
нет,  
Чем писанье стихов. Нами улочка эта  
любима.

Никогда не увижу трехъярусной глыбы...  
Клянусь,  
Это больше меня не волнует... Приходит  
свобода  
С кровной той стороны, о которой не  
думал. Пройдусь  
Мимо чешского консульства, банка  
Райздрава, Горвода.

В. Емельянов.  
«На новые места» Из серии «Нефть», 1971 г, линогравюра





Вся жизнь прошла в тревогах и в дыму...  
Так жили мы — и гордости не прячем.  
Не оттого ли в нас  
поет и плачет  
скрываемая нежность — ко всему,  
что может обозначить тишину,  
что свет и дружбу  
может обозначить...

**КАТЯ**

Катя стружку стружечкой зовет,—  
что за нежность странная такая...  
Стружечки привычный ледоход  
по резцу стекает и сверкает,  
завитки бегут, спирали, блеск —  
так детали сбрасывают пену  
перед тем, как каждой приобрести  
точности уверенную цену.

Научилась делу, так не жди,  
выдай в смену полтора задания;  
и — надежней все, что впереди,  
и — солидной жизни основанье;  
все другое, что еще придет,  
лучше видно с берега работы.  
Катя вещи делает и ждет  
тоже очень важного чего-то...

Вот опять деталей полон бак,  
а до смены — час еще с довеском,  
и блестят они не просто так,  
а живым и строгим интересом;  
проверяйте — точно по ТУ,  
узнавайте Катины секреты,  
Катя, выпускница ПТУ,  
д у м а е т.

Других секретов нету.



ПОСЕЩЕНИЕ ЮЖНОГО РЫНКА

На рынке центральном — чего только  
нету в продаже!  
Зеленые горы укропа, салата и лука,  
холмы помидоров, и яблок, и вишен,  
и даже —  
балтийская сельдь иностранкой глядит из  
тузлука!

Горят георгины. Рассыпался воз с  
огурцами  
Наряд милицейский привычно гоняет  
цыганок.  
И жирные куры ведут перебранку с  
гусями.  
И рядом с фуганком,  
как брат, притулился рубанок.

И так сиротливо соседствуют с крупной  
картошкой,  
с гвоздями, и воблой, и пестрым ковром  
домотканым —  
потрепанный Пушкин, и Герцен,  
помятый немножко,  
и видевший виды Дюма,  
и Гайдар с Мопассаном!

— Почем огурцы?  
— Рупь с полтиной, берите лукошко!  
— Тургенев почему?  
— Да за три карбованца, касатик!  
— Давайте за два!  
— Да вы только подумайте трошки,  
какой был писатель Тургенев, какой был  
писатель!..

Итак, помидоры — пятерка! И Гоголь —  
пятерка!  
А если, допустим в уме,  
обойтись огурцами,  
то сдвинется круг — и пройдет  
чечеточкой Теркин  
иль юный Гринев пролетит по степям  
с бубенцами!

Вокруг покупают, шумят, выражаются  
в голос.  
И только кавказцы сидят среди груш  
отрешенно.  
И алый бутон развернул на бедлам  
гладиолус,  
И вот уже щерится он, как раструб  
граммофонный!

И ропщет кабан и толкает хозяина  
боком —  
не в силах стерпеть этот гомон и торг  
задушевный.  
И люди проносят авоськи  
с картошкой и Блоком,  
а то и с Флобером —  
Флобер тяжелей и дешевле...

★ ★ ★

Живем во временах, которых мы  
достойны.  
Но дали древних лет предъявит сердцу  
грусть.  
А там опять чадят Пунические войны  
и римляне галдят в предместьях  
Сиракуз...

У нас свое кино, у нас получка в среду,  
у нас своих забот — хоть пруд пруди,  
хоть пруд...  
Но что же там открыть не дали Архимеду,  
призвав к постройке стен, зеркал и  
катаapult?

И наши времена чреватые смрадом  
дымным!  
Вся жизнь на волоске — все тоньше эта  
нить...  
Но Архимеда жаль, и греков жаль,  
и римлян,  
и жаль, что ничего нельзя предотвратить.

Нельзя, уже на штурм пошли Марцелл  
и Клавдий!  
Нельзя, хоть зеркала сожгли весь  
римский флот!  
Ведь самый светлый ум — ничто, сказать  
по правде,  
в сравнении с возней у городских ворот...

А будь исход иным и не таким бесслав-  
ным,  
кто знает, может, мы имели б меньше бед!  
Не зря ж в предсмертный миг — вся боль,  
весь страх  
о главном!  
«Не тронь моих кругов!» — воскликнул  
Архимед...

★ ★ ★

Дивный, нечаянный праздник верша,  
спи, я нежней этой просьбы не знаю,  
рядом со мной безмятежно дыша,  
спи, несравненная и неземная...

Приподнимаясь на локте во тьме,  
я разгляжу твои губы и щеки,  
эти ресницы и веки и те —  
в жилках голубеньких слабые токи...

Вновь накатило, невольно слезя  
зренье мое, не привыкшее к свету,  
что-то — чего и сказать-то нельзя,  
что-то — чему и названья-то нету...

Но до утра нараспев, как листва,  
буду шептать обращенные к чуду  
легкой нездешней повадки слова —  
те, что и днем я не сразу забуду...

ПЕВЕК

*И Юрьеву*

Я согласен, что в двадцатом веке  
Чудеса не часто под рукой,  
Да и то — в загадочном Певеке  
(Если карте верить, есть такой).

Там земля промерзла до середки,  
Там наотмашь стылые ветра,  
Там неутешительные сводки  
От души клянут диспетчера.

И, на вид внушительно матери,  
Там живут, однако, чудачки —  
Летчики, старатели, шахтеры  
И, конечно, мастера строки.

Вот он, факт,— почти непредставимый,  
Но реальный, как над портом флаг.  
Там танцуют, крутят кинофильмы  
И любовь — без этого никак.

Бродит вьюга тундровою далью,  
Все крутые тайны замела...  
Фантастичный город Заполярья,  
Молодая честная земля.

ДЕКАБРИСТ. 1826

Или драма, или эпос.  
Карты. Пунш. Дуэли. Вдруг —  
Петропавловская крепость.  
Хмурый город Петербург.

Скатерть белая измята.  
Блеск свечей и плеск речей.

. . . . .  
Мгла подземных казематов,  
Безъязыкость кирпичей.

Ночи лунны. Очи — серы.  
Кровь младая горяча.  
Лейб-гвардейцы, офицеры,  
Снег ложится на плеча.

Перед зданием Сената  
Раскатился выстрел чей?  
Мгла подземных казематов,  
Холод вечных кирпичей.

Пусть ты баловень фортуны,  
Да с пяти сторон — стена.  
Изо всей литературы  
Библия разрешена.

Кто повешен, кто застрелен;  
Кто болтун, а кто — подлец.  
Мрачен зодчего Растрелли  
Императорский дворец.

Занесет забвенья снегом  
Иль в Историю войдет  
Девятнадцатого века  
Прошлый, двадцать пятый год.

Ты прости-прощай, невеста.  
Я не виноват ни в чем.  
Но по воле сил небесных  
С кандалами обручен.

В берег снова, снова, снова  
Бьет холодная вода.

«И на штыке у часового  
Горит полночная звезда».

## НЕ ЗАБЫТЬ

.. крепостной Иван Макаров, автор слов романа «Однозвучно гремит колокольчик», за сочинительство стихов был отдан в солдаты .

*Из радиопередачи*

Теперь не знаем точной даты:  
Когда ты отдан был в солдаты?  
За что? — за тяжкий из грехов:  
За сочинительство стихов.  
Есть у судьбы и боль ударов!  
Муштры хлебнешь, Иван Макаров...  
Все ж ямщиком военным стать  
Сподобился — за рост и стать.  
И, как велел начальник строгий,  
Депеши ты возил в остроги.  
То в караулке, то в степи —  
Где мог, в тетрадь писал стихи.  
Красивый, тридцатидвухлетний,  
Не пулей ты убит, не сплетней,—  
В степи, морозищем распят,  
Погиб — ямщик, поэт, солдат.  
Друзья пришли. Недвижен ты ли?  
В гроб колокольчик положили...  
И над могильным бугорком  
Пропели: «Степь да степь кругом...»

## НАД МЕСТОМ ЭТИМ

Над местом казни декабристов,  
Не приглядев иного места,  
Июньский юный гром, неистов,  
Басит раскатисто, как месса.

Не прячут молнии свирепость  
По-над Невою неповинной,  
На Петропавловскую крепость  
Яр ливень рушится лавиной.

Земле сочувствуя мятежной,  
Надрывно, горестно, не слепо  
Уже два века безутешно  
Над местом этим плачет небо...

★ ★ ★

*Лиле*

Милая, эти пылинки,  
что на твоих ресницах,  
старше сарматского поля  
и вавилонской вражды:  
пращуры наши мчались  
в Индию на колесницах,  
облики их летящие  
были от пыли седы.  
Сколько тысячелетий  
мгла над Землей провисела!..  
Слышишь? — под Басрою где-то  
воет в окопе волк.  
Пыль, что над прошлым вздыблена,  
до сей поры не осела,  
гул колесниц убийственных  
до сей поры не замолк.  
Дым над горящим Бейрутом  
гривую вьется кобыльей.  
Вороны тысячелетий  
каркают вразнобой..  
И такова мольба моя:  
да помрачится от пыли  
взор у того, кто прицелится  
в жаворонка  
над тобой!..

## ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЛК

В три часа зимы,  
мерцая фарами,  
Волк железный по Европе шастает.  
Ржавые шарнирчики поскрипывают,  
во груди транзисторы потрескивают,  
а из пасти капает солябочка,  
а в очах цифири перескакивают..  
Рыщет Волк по стрельбищу,  
как проклятый,  
на четыре стороны принюхивается,  
подползает к пушке покалеченной,  
завывает несусветным голосом,  
кличет запропавшего наводчика...

В три часа безумия  
по Гринвичу.

## ТАВРО

Ни кровью не смоешь его,  
ни вином,  
и лик беспородный  
не перелицуешь...

Опять ты, душа,  
на коне вороном,  
на прадедом краденном,  
в поле гарцуешь,  
опять рысака посылаешь в галоп  
и, плетью витийствуя  
напропалую,  
под пулю суешь свой ивановский лоб  
с тавром материнского  
поцелуя.

*Посвящается Федору Абрамову*

## 1. БАЛЛАДА О БЕЛЫХ НОЧАХ

Мальчик идет по тропинке лесной  
Ягод набрать в туесок расписной,  
И повторяют река и ручей  
Очарование белых ночей.

Зябнут к рассвету цветы на лугу,  
Фыркают лошади на берегу,  
Тянет с болота прохладным дурманом,  
— Может, согреться тебе на бегу?

Весело бьет по спине туесок,  
Книгу за пазухой мальчик несет.  
И не спугнет ранний крик косачей  
Очарования белых ночей.

...Вправо и влево дороги бегут,  
Счастье и горе они стерегут,  
На перекрестке свой путь выбирая,  
Мальчик лыжню проложил на снегу.

Ноша нелегкая выдалась, брат,  
Порохом пахнут ладони солдат,  
Валится небо, и плаваются реки,  
Но прозвучало: «Ни шагу назад!»

Шкуру свою непривычно беречь,  
Коль Бородинская выпала сечь.  
Но если свет не уплыл из очей —  
Это сияние белых ночей!

...Мальчик идет по тропинке лесной,  
Полный в руке туесок расписной.  
— Что же нашел ты и что потерял ты  
Осенью ранней и поздней весной?

Годы уносятся за окном...  
— Где же второе дыханье твое? —  
Той же тропой белобрысый мальчишка  
С книгой твоей убегает вдвоем.

Красное лето звенит от ключей.  
Как бы планету спасти от мечей?  
Юностью вечной над вечным покоем  
Очарование белых ночей!

## 2. ХОР ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН

Не про нас ли,  
не про нас ли,  
не про нас ли

Глухари протоковали по весне?  
Не погаснет,

не погаснет,  
не погаснет  
Свет мой ясный, свет мой северный в  
окне.

Ставит август паутинные тенета,  
Кладовая у шиповника полна...  
Отзвенело,

отзвенело наше лето,  
И шуршат,  
шуршат по ветру семена.

А дождям сентябрьским все падать  
И притоптывать серебряной ногой...  
Подари мне,

подари мне только память,  
Если отдал ты себя другой.

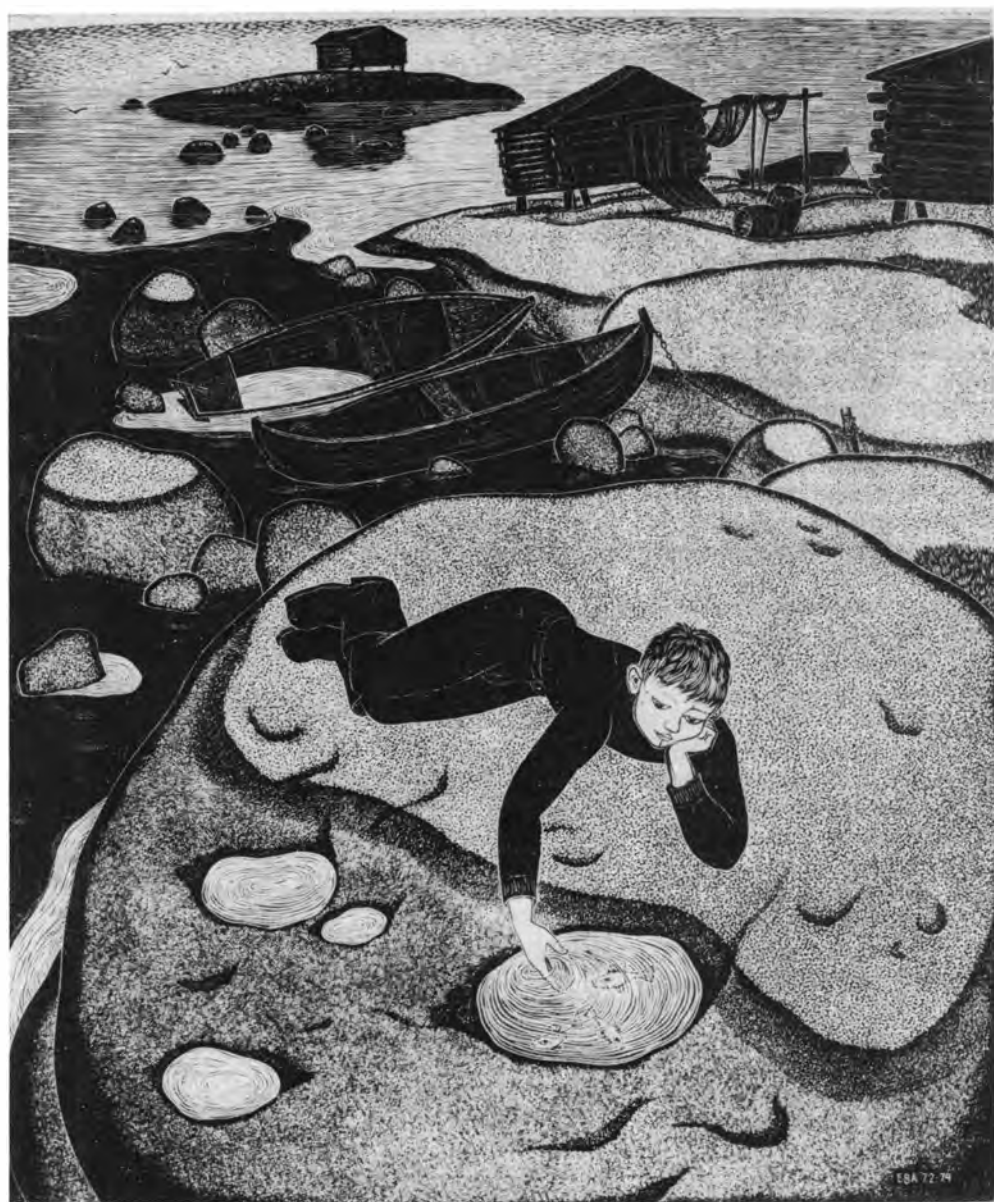
Чувство долга с малолетства в нас  
вложили,  
У подруг мы не вставали на пути.  
Сколько вместе протужили,  
пережили,—  
Терпеливей русской бабы не найти.

Наши внуки потихоньку подрастают,  
Различают, что худое, что — добро...  
Не растает в наших косах,  
не растает  
Заработанное жизнью серебро.

Не погаснет,  
не погаснет,  
не погаснет  
Свет мой ясный, свет мой северный  
в окне.

Не про нас ли,  
не про нас ли,  
не про нас ли  
Глухари протоковали по весне?

*В. Емельянов.*  
«Пойманные рыбки». Из серии «Беломорье», 1974 г.,  
линогравюра.



**ИЗ ЦИКЛА  
«ОТЦОВСКИЙ БЕРЕГ»**

**РОЖДЕНИЕ РЕКИ**

Есть реки,  
что рождаются из мха:  
едва наружу родничок пробьется —  
его накроют сучья и труха,  
таежный бурелом над ним сомкнется.  
Пласты опавшей хвои и корья  
от солнечных лучей упрячут сразу,  
и долго-долго  
дикая струя  
бежит сквозь лес,  
невидимая глазу.  
Вбирая дух невесть каких краев,  
не поддаваясь хвойному настилу,  
родник мужает,  
крепнет,  
от ручьев —  
от сил попутных —  
набирает силу.  
Торопится.  
И что таить греха —  
становится он дерзким понемногу  
и наконец —  
взрывает толщу мха,  
среди корней пробив себе дорогу.  
Бурливо устремляется туда,  
где под напором падают осины,  
шумит освобожденная вода,  
бежит через низины и трясины.  
Распадки затопляя и лога,  
уверившись:  
не зря себя мытарит,  
отыщет русло —  
перед ней тайга  
расступится  
и берега подарит!

**КОРЯЖМА**

Пригласи меня, Коряжма,  
в тот пролесок у реки,  
где надрывно и протяжно  
день и ночь  
бьют гудки.

Где,  
набравшая сока,  
в стороне от всех дорог,  
в топях  
клюква-белобочка  
подставляет солнцу  
бок.  
Где деревья строевые,  
срок заветный торопя,  
плотно кольца годовые  
навивают на себя.  
Где живут одноэтажно  
села северной Руси...  
Пригласи меня, Коряжма,  
на побывку пригласи.  
Чтобы нас сроднили годы,  
чтоб совпало средь ветвей  
время зрелости природы  
с часом зрелости моей!..

**ПРАЗДНИК В СЕЛЕ**

У околицы сошлись людские страсти:  
проявляли здесь себя и стар и мал...  
Гармонист играл  
и хромку рвал на части,  
будто искру из народа выбивал.  
Гармонист играл —  
подпрыгивал на стуле,  
как на лошади скакал через толпу.  
Гармонист играл в игривом общем гуле,  
будто чью-то переигрывал судьбу.  
И уж кто-то  
неуемный  
под двухрядку,  
скинув ватник,  
подбоченься шутовски,  
то кидался  
как подкошенный  
вприсядку,  
то вколачивал в площадку каблучки.



То бросал на землю тело  
оголтело,  
самого себя стараясь превзойти,  
то летел по кругу,  
взявшись так за дело,  
будто век его держали взаперти.  
Да и где его такому обучали —  
не плясал,  
а выражал жите-бытье:  
то ли чаял отмахнуться от печали,  
то ли горюшко затапывал свое!..



*Памяти отца*

Этот берег волнует  
меня.  
Здесь осталось родное:  
вот — в пять створок окошко,  
где жил я,  
не веря в хандру,  
вот у луковки-церкви —  
сельмага крылечко резное,  
а поодаль — колодец,  
где стонет бадья поутру.  
Здесь упрямое солнце  
не дружит с дождем, а надежда —  
с нетерпеньем.  
Здесь роши  
мне под ноги сыплют росу.  
Здесь, как встарь, самозванна  
река, самотканна одежда  
и, как свежая репа,  
крепки сыроежки в лесу.  
Здесь — чубарые кони...  
Здесь, за руки взявшись, избушки  
с косогора сбегают,  
гостям улыбаясь светло.  
Здесь привыкли чернику  
вычесывать гребнем старушки:  
чес — и полный совок,  
чес — и вот уже с верхом ведро.  
Здесь свирельку цевницей  
зовут.  
Здесь и речь-то другая:  
на сто верст по округе —  
царят-государят леса...  
Этот берег отцовский,  
как совесть, глядит не мигая...  
Как я счастлив, что смею  
взглянуть ему смело в глаза!

ПАПЕ

Мальчик из политбойцов,  
балагур в пилотке синей —  
среди всех живых отцов  
наш, наверно, всех красивей.

Рос бесхитростно, как гриб.  
Испытанья час не минул —  
в сорок первом не погиб,  
в пятьдесят втором не сгинул.

Выжил. Вышел. В рост пошел.  
Вширь страну свою объехал.  
Ноги есть — и хорошо,  
руки — тоже не помеха.

А придавит — боль в кулак  
соберет и вдавит в стену —  
только раны темный знак  
на локте да у колена.

Так и жив своим трудом  
меж семьей и работой.  
И цветут его заботой  
три девицы под окном.

КИРОВСК

До чего этот город красив,  
если издали, сути не зная,  
вдруг увидеть Хибинский массив —  
горы снега от края до края.

Что-то чудное видится в нем,  
что-то жуткое и неземное.  
Без единого кустика склон  
бесконечной слепит белизною.

И не город почти, а макет  
внеземных леденящих колоний.  
Он кипит на заснеженном склоне  
в порошковом своем молоке.

И домов аккуратных ряды  
накрывает кипящая пена,  
и колышется, и постепенно  
заметает людские следы.

★ ★ ★

В. Р.

Строки недочитав, остановилась я:  
«Вот получил письмо, и жизнь почти  
преlestна!»  
Не пишет, что в Москве и суетно и тесно,  
тоска, безденежье, отсутствие жилья.  
«Живу и радуюсь!»  
А горечь утаил.  
Лишь радость новостью, а горе  
вечно то же.  
Мы все перенесем, покада хватит сил  
друг друга поддержать, утешить,  
обнадежить.

★ ★ ★

Зима надломилась.  
Ну что же ты дрейфишь, дружок?  
Неделька терпенья, и май заиграет  
в рожок,  
и арфу качнет, и победно ударит  
в литавры!  
Ну что тебе дался полдневный  
горячечный Юг  
и вечнозеленые лавры?  
Ну чем нам поможет уста запекающий  
зной?  
На улице слякоть, и ветер гуляет  
сквозной,  
и мокрый апрель пацаненком скользит,  
убегая  
в прошедшую зиму. И зябко. И воздух  
дрожит.  
Качается арфа, и нам долгожданная  
жизнь  
обещана нынче другая!

## КОЛОДЕЦ ДЕТСТВА

Глубокий колодец детства,  
и белая ночь в окне,  
и где-то с ней по соседству  
знакомый звук в тишине:  
торцовая мостовая,  
приглушенный стук копыт...

И даль звенит, остывая,  
и Питер спит и не спит...

## НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Помнишь звуки ночные, недобрые?  
Ходики ходят, как сердце под ребрами,  
лепечут назойливо и устало:  
— Жизнь под сомнением, а сделано  
мало...—

Гудок говорит о дальних этапах,  
теплушках, винтовках в безжалостных  
лапах...

А ветер упрямо твердит: — Каково-то  
брести по чашобам, по снежным  
болотам...—

Любимая дышит, вздыхая во сне:  
— Тяжко одной состариться мне...—  
Даже кот мурлычет где-то под боком:  
— Сегодня ты здесь, а завтра далёко...—  
Тревога вспыхивает, как ночник:  
почудился худший из звуков ночных —  
резкий, привычно властный стук,  
которым не постучится друг.  
И тянутся в душу враждебные руки,  
и ночь разверзается черною ямою...

Но есть у ночи и добрые звуки.  
Какие? Да те же самые!

Настроены ходики оптимистично:  
— Напишешь ты уйму поэм отличных! —  
Гудок не угрозой звучит, а укором:  
зовет домоседа за реки и горы,  
а ветер завидует за окном,  
тому, что ты щедро снабжен теплом.  
И даже во сне любимая рада:  
— Ты рядом, ты рядом, всегда со мной  
рядом! —

И кот, примостившийся недалече,  
заводится от прикосновенья руки:  
— Порядок, хозяин! До утренней  
встречи.—  
Все дни твои — ясны, все ночи — легки!  
А если за полночь кто-то стучит,  
это может значить только одно:  
сосед, вернувшийся из кино,  
снова забыл ключи...  
Не фокусы это, не чудеса,  
не словоблудие праздное:  
те же самые голоса  
в разное время — разные!

## **ИРИНА МОИСЕЕВА**

★ ★ ★

Ты сделался тучей на месте восхода...  
Но даже печальной прекрасна природа.  
Я жду золотого дождя!  
И душного воздуха мне не хватает.  
И ласточка наша  
  так низко летает —  
Ты сглазил ее, уходя.

## УДИВЛЕНИЕ

Какой сверкал сегодня день —  
весь город был затоплен светом!  
И укорачивалась тень...  
И вспомнил я, что скоро лето.  
Опять за удочки возьмусь  
и убегу к реке из дому.  
И хоть, весна, тебе дивлюсь —  
томлюсь по лету грозовому.  
По небу грозному, когда  
оно клубится, пламенея.  
А с крыши падает вода,  
в огне небесном розовея.  
Но в этот сумеречный миг,  
когда горит край небосвода,  
травы топорщится язык,  
на крик срывается природа.  
О чем она средь бела дня  
кричит, смятенная, сердито?  
И в грома ливня и огня  
защиты просит у меня,  
когда я сам ищу защиты!

Тебя так тянет высота!  
Жизнь без нее — невыносима!  
...И гул железного листа  
как гром врывается в Касимов.  
И у касимовских излуч,  
куда ветра дожди относят,—  
там замирает этот звук...  
И зарождается предгрозье.

## О ЮНОСТИ

Поговорим о молодом  
том времени полузабытом...  
Оттуда тянет ветерком,  
полночным шелестом ракиты.  
Оттуда слышится мотив  
такой старинный, но любимый!  
Там наша юность! Там разлив  
двух наших рек неразделимых:  
Оки и Волги голоса...  
Отроги зыбистых откосов...  
И золотая полоса  
песчаных отмелей и плесов.  
Там столько тропок и дорог!  
Родной простор зовет скитаться...  
Зеленой жизни узелок  
стремится туго завязаться.  
Там глину дождик замесил...  
И вызов сверстницам бросая,  
ты, в преизбытке юных сил,  
по крышам бегаешь босая.

## ПРОБУЖДЕНИЕ

В стремительном времени сна,  
обвальном, полетном, пролетном,  
влекущая нас крутизна  
опомниться не дает нам.  
Течет, низвергается сон,  
ущельным пространством владея,  
и прочных деталей лишен  
сюжет

твоего сновиденья.  
Кострами события горят  
в его наседающей чаще,  
и ты, может быть, лишь снаряд,  
непоправимо летящий,  
спешащий к мигу тому,  
когда эта жизнь, эта книга  
дочитана. И потому  
сама — не более мига...  
Но вот высветляется даль  
и дня настает разветвление,  
где каждая капля, деталь  
дарят бытию замедленье.  
А свет, что повсюду проник, —  
он вылепить мир постарался.  
И жизни единственный миг  
раскрыт в бесконечность  
пространства.

## СЛОВО

Не рождайся, Слово! Опомнись!  
Ну кому это надо — стишки?  
Маеты и тщеславья помесь!  
Изведи черновик! Сожги!  
Но родилось...

Жалко, немило  
и почти враждебно оно.  
Существует тебя помимо.  
Есть! И вечности обречено.  
И с растерянностью, с боязнью  
на него взираешь в упор:  
вот оно — всегда перед казнью...  
Нет, не выноси приговор!  
Не спеши рубить пуповину  
перечирканного черновика,  
где еще все — наполовину,

все еще — не наверняка  
и покуда не отделилось  
от тебя и в тебе еще...  
Есть ли та  
необходимость,  
чтоб заглядывала через плечо?  
Но уходит Слово. И справу  
на него уже не дано.  
А испить ли славу иль сраму —  
несмышленому  
все равно.



..И гонца велел повесить.

*А. С. Пушкин*

Зачем спешил гонец,  
неся дурные вести?  
Свой торопил конец,  
искал свое бесчестье?

— К обеду порешим!  
— За что? — тут говорят нам.  
— А чтобы впредь спешил  
с известием приятным!..

Но сказке — не конец.  
Не впрок давнишний опыт.  
Взметает пыль гонец —  
и все слышнее топот!

*В. Емельянов.*  
«На скважине». Из серии «Нефть», 1971 г., линогравюра



ГЛЯДЯЩИЕ НА ФЛАГ

*И. Родниной и А. Зайцеву*

В заснеженных горах, за океаном,  
Огонь Эллады рвется в небосвод.  
Я тоже там: глядит с телеэкрана  
Лейк-Плесид, где ведут рекордам счет.  
Застыли на почетном пьедестале  
Она и он. А стадион гудит.  
Сверкают олимпийские медали  
Сердцами золотыми на груди.  
И медленно над гладью ледяною  
Всплывает флаг багровой полосой,  
Где серп и молот рядом со звездю,  
Нам ставшей путеводною звездю.  
Мне кажется, что не людские руки  
Торжественно его возносят вверх —  
Родного гимна взвихренные звуки,  
Что заставляют подниматься всех.  
И, словно разгадав мое желанье  
(Спасибо, оператор, добрый маг),  
Предстали крупным планом на экране  
Она и он, глядящие на флаг.  
Я верил — их возвысившее счастье  
Не позволяло долго кадр сменить.  
(Ей-богу, оператору не часто  
Такое удается уловить.)  
Им шар земной, плывущий в мирозданье,  
Стал пьедесталом — показалось так.  
И словно греческие изваянья  
Она и он, глядящие на флаг.  
И я не в силах был сдержат волненье:  
Смотрел в ее лицо, ее глаза,  
Невольное я видел губ движенье  
И видел: по щеке бежит слеза,  
Той вдохновенной радостью сверкая,  
Когда уже преграды позади,  
И к Родине, все чувства покоряя,  
Как птица, сердце рвется из груди.

★ ★ ★

Помог ты другу горе сокрушить,  
И хорошо. Но вижу: ждешь отплаты.  
А я-то думал, это от души...  
Видать, душа запряталась куда-то.

Взамен ее, выходит, ты воздвиг  
Прибор нехитрый — родственник  
безмена,  
Он помощь другу взвешивает вмиг  
И, как на рынке, объявляет цену.

Но не богатство множит твой расчет —  
Число потерь, скажу тебе я честно.  
Когда ж опять в тебе душа займет  
С рожденья предназначенное место?





Ю. Л.

Шершавые шрамы сосновой коры  
И прозелень кленов.  
Найду твои окна с Поклонной горы  
Легко и влюбленно.

Кривые термометра:  
  кверху и вниз —  
Крутые изломы.  
Погоды и сердца извечный каприз.  
Больничное лоно...

Был черно-белесый —  
  беспомощно гол —  
Пейзаж заоконный.  
Черемухой, вишнями нынче расцвел  
Твой сад  
  на Поклонной.

По желтым дорожкам  
  мы тихо идем,  
И зелень — повсюду,  
А белое облако на голубом —  
Подобное чуду.

А тучею станет —  
  схлестнется опять  
С тоскующим ветром.  
В саду на Поклонной  
  еще нам гулять  
Меж тенью и светом.

Чтоб время корявое  
  нежно текло,  
Подобно восходу,  
Мы будем нести друг для друга тепло  
И делать погоду.

**ЛЕТНИЙ САД**

*Сашеньке Никольской*

Узкий канал перейду,  
Трону чеканность калитки.  
Сашенька!  
В Летнем саду  
Полдень и жаркие липы.

В сумраке трав-повилик  
Влажная зреет истома.  
Сашенька!  
Вдруг словно крик —  
Лебедя мраморный блик  
В черном стекле водоема.

Годы стоят за спиной,  
Вроде всему надивилась.  
Послана высшая милость:  
Жизнь повторить за тобой.

Сашенька!  
В Летнем саду  
Снова замру потрясенно,  
Слушая шорох бессонный  
Лип в золотистом меду.

Сколько отпустится снова  
Сердцу, душе и уму!..  
Сколько откроется,  
Словно  
Только теперь и пойму,

Как глубока высота,  
Как величава осанка  
Дымчато-красного замка  
В той стороне, у моста...

★ ★ ★

Ничего не бывает потом.  
Вспомним давних ли дней  
прегрешенья —  
Ах, напишем, попросим прощенья,  
Разберемся, друг друга пойдем.

Разделить ли чужую беду  
Иль помочь совершиться успеху —  
Пожалеем, поможем, не к спеху!  
Ну, не в этом,  
Так в новом году.

Вот закончим дела  
И придем  
Добрым вечером в дружеский дом,  
А дела, как всегда, бесконечны,  
А земные пути быстротечны...

Ничего не бывает потом.



Сквозь окно летящей электрички  
Я смотрю на первые цветы.  
Пусть не станет никогда привычкой  
Ощущенье этой красоты!

Здравствуйте, цветы!  
Дома сменились,  
И деревьев тех в помине нет,  
Только вы, цветы, не изменились  
Ни за двадцать, ни за тридцать лет.

Тех людей, что жили по соседству,  
Не найти средь взрослой суеты.  
Лишь одни друзья остались с детства —  
Верные друзья мои, цветы.

Но теперь согрета новым светом  
Наша встреча — в ней сильнее грусть:  
Сколько в детстве нарвала букетов,  
А теперь травинку смять боюсь!

**А СЕРДЦЕ СНОВА УДИВИТСЯ**

Зима вздыхает озабоченно:  
дороги за ночь замела —  
лучи согнали снег к обочине...  
Все больше света и тепла!

— Пора на полюс брать билет! —  
хохочет солнце над метелью.  
Оплавился лосиный след,  
просел, исклеванный капелью.

На зов разбуженной реки  
спешат, сбегаются потоки.  
Пробились первые ростки,  
набрали силы на припеке.

Умытое водою талой,  
лицо земли добрей и мягче,  
милей, улыбчивее стало  
от конопушек мать-и-мачех.

Прогрето и озарено,  
к преображению готово,  
ложится в борозду зерно,  
чтоб дать начало жизни новой.

Тысячелетия вершится  
обряд таинственный и древний:  
приносит в клюве песню птица,  
в зеленом пламени дерева...

Для разума привычно вроде,  
а сердце снова удивится:  
все повторяется в природе...  
И ничему не повториться!

БОЛЬШАЯ СТИРКА

Забыли мы уже  
Такую службу быта:  
В подвальном этаже  
Квадратные корыта,  
Бушует в них вода,  
Закрыта пробкой дырка,  
Что сыро — не беда,—  
Идет большая стирка.  
Слезится низкий свод,  
Намок колпак бумажный,  
И очереди ждет  
Весь дом пятиэтажный.  
Там с раннего утра,  
Скользя по мокрым плитам,  
И мама, и сестра  
Склонялись над корытом.  
Вот мокрые жгуты  
Уложены в корзины.  
В подвал из темноты  
Спускаются мужчины.  
Их ноша нелегка,  
А мы по дому рыщем,  
И ключ от чердака  
По всем квартирам ищем.  
Для нас чердак — игра,  
Мы про белье забыли...  
Мальчишки со двора,  
Мы чердаки любили.  
Не знали мы тогда,  
Зачем — приказом свыше —  
Военная страда  
Нас позовет на крыши...



Дом идет на ремонт капитальный,  
И, подобно свечам дорогим,  
Как в симфонии Гайдна —  
«Прощальной» —  
Гаснут окна одно за другим.

Их, горящих, все меньше и меньше,  
И дверей все отрывистей стук,  
И в глазах озабоченных женщин  
Беспокойство и легкий испуг.

Новый комплекс — не верх  
совершенства,  
Но съезжает из дома народ,  
И рычит грузовик Трансагентства  
Целый месяц у низких ворот.

А затем наступает минута —  
Дом покинут, в нем тихо, темно,  
Предпоследняя свечка задута,  
Лишь одно не сдается окно.

Все там ходит по комнате кто-то,  
Верно, старый блокадник не спит,—  
И как будто щемящая нота  
Под смычком, затихая, звучит.

Только племя шумит молодое  
И не может понять до конца —  
Отчего в расселяемом доме  
Разбиваются наши сердца.



Со мною даль опять заговорила  
На изумленном белом языке.  
Как много снегу нынче навалило  
На северном моем материке.

И кажется, что солнце с ним не сладит,  
Вот так и будет целый год лежать.  
Зима в своем нетронutom наряде  
В нетронутую просится тетрадь.



Никогда не приедешь неожиданно.  
Редко в гости друг друга зовем.  
Только я так ненужно, незваной,  
Посещаю твой запертый дом.

У твоей безотзывчивой двери  
Тереблю безотзывный звонок.  
Но в твое равнодушие поверить  
Мне никто, даже ты, не помог.

## ПОХОД

Опять металла привкус на губах,  
А кожа заполярным солнцем бредит.  
Нас лучше знают в НАТОвских штабах,  
Чем на площадке лестничной соседки.

Скитальцы века... Командирский слог  
Не сделаем для наших душ забралом.  
Лежат Есенин, Лермонтов и Блок  
На пульте рядом с вахтенным журналом.

И замыслы, и помыслы чисты.  
Для нас планета — не подобье тира.  
В морях встают подводные посты  
На зыбких рубежах войны и мира.

## ВСТРЕЧА

Шагну с причала в тесный флотский  
город,  
Где много юных жен и нет невест.  
Тяжелыми шагами Командора  
Войду в знакомый сумрачный подъезд.

На лестнице кивну соседу хмуро,  
А он печально усмехнется вслед.  
И у дверей растоптанный окурок  
Покажется страшнее всяких бед.

Но хлынет свет в окошко с небосвода,  
Когда взойдешь над страхом, как звезда.  
Сгорят в твоей улыбке без следа  
Грехи, что я придумал за полгода.



Зачем мы враждовать должны?  
Всем хватит счастья и простора...  
Планета — яблоко раздора,  
Но рождена не для войны.

Ее особые права  
На мир  
Смирят людские страсти.  
Она не делится на части —  
И этим именно жива.

## ОЛЕГ ОХАПКИН



*Н. А. Козыреву*

Ясней и тише год от году  
Воспоминанья детских лет.  
Не тьма ли в ясную погоду  
К нам приближает звездный свет?

День ото дня все различимей  
Судьбы знакомые черты,  
И время внутреннее зримей  
Во сне из внешней темноты.

Не оттого ль стареть грустнее,  
Что нас младенцы мудреней,  
А ночь кромешней и темнее,  
Чем вечер вывездит верней?

Но чем страшней и бесприютней  
Наш быт глядит из мелочей,  
Мы тем подробней и минутней  
На черной плоскости ночей.

Там в чудных сумерках сознанья,  
За гранью умного, в душе  
Слоится время созерцанья —  
Сон с полуявью на меже.

Мерцают памяти глубины,  
Которой нижние пласты —  
Младенчество — до сердцевины  
Тверды, кристальны и чисты.

И там, из глубины внедренный,  
Свет — перводвигатель причин —  
Шар золотой и раскаленный,  
Лик первобытный без личин.

Он, сам себя не сознавая,  
Прекрасен, цел и просветлен,  
Как бы звезда, не остывая,  
В холодный космос погружен

И, оболочкою эфирной —  
Душой младенческой одет,  
Сквозит в материи всемирной  
Как бы мгновенье в бездне лет.

## ГЛЕБ ПАГИРЕВ

(1914—1986)

### ЛЮБОВЬ

Как встретить сумела беду  
почти что девчонка,  
когда в сорок третьем году  
пришла похоронка?

Одно поняла: как ни плачь,  
беды не поправить.  
Остались от мужа лишь плащ  
да фото на п а м я т ь .

Той памятью век и жила.  
Быть может, сглупила?  
Была ему просто жена  
и просто — любила.

### ПАМЯТЬ О ПЕХОТЕ

Часто боль возникает в груди  
после нескольких сильных затяжек.  
Только ты меня, жизнь, не щади,  
не давай отпусков и поблажек.

Не хвали за плохие стихи,  
не тянись со мной в упряжи цугом,  
и пускай за былые грехи  
я один получу по заслугам.

Если все на кого-то валить,  
надо мне от себя отказаться:  
не горбить, не трубить, не варить,—  
быть другим, а собою казаться.

Как я молодость помню свою,  
так по опыту знала пехота,  
что не бросишь винтовку в бою,  
не откажешься от пулемета.

### СПРОСИТЕ ИХ

— Война, события тех лет  
давно расписаны до точки.  
И может быть, пора, поэт,  
переключаться на цветочки?

— Да, у цветов хороший сбыт  
но вы меня-то не трясите —  
спросите тех, кто был убит,  
их матерей и вдов спросите.

### ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ

Был ли, нет он герой,  
ранен был иль контужен,—  
той военной порой  
был до крайности нужен.

Где родные, где дом —  
не найдешь к нему следа.  
Но солдатским трудом  
нам давалась победа.

Этот вышел вперед,  
этот с фланга прикроет.  
Кто тут первый умрет?  
Кто могилу отроет?

Все герои они,  
подвиг каждого вечен,  
только в будние дни  
был не каждый замечен.

Сколько их-то, таких,  
бравших разные в а л ы ?  
И куда бы без них  
все твои генералы!..

Этот любит балет,  
те рыбешек разводят,  
а спустя сорок лет  
ордена их находят.

★ ★ ★

Блокадная книга!  
Когда разомкнется твой круг?  
Страницы твои  
Все мрачней, беспощадней, страшнее.  
Слабее движение  
Скованных холодом рук,  
Биение пульса  
На тоненькой Юриной шее.

С тобою все это —  
Не сон затяжной и не бред,  
Не в чем-то мозгу воспаленном  
Безумная небыль,  
И смерть у дверей,  
Как спасенье от страха и бед,  
Как выход, как счастье...  
Но лучше бы корочку хлеба...

Как мало нам надо,  
Как много нам нужно ценить,  
Как много запомнить,  
Оставить впечатанным в сердце,  
Чтоб снова никто и нигде  
Не сумел повторить  
Блокадную книгу —  
Жестокую летопись смерти.

★ ★ ★

*Памяти С. Есенина*

«Терпилицы» — название деревни —  
Лучом тепла пронизанная грусть.  
Охватит сердце изморозью древней,  
И оживет соломенная Русь.

Терпилицы — кормилицы России,  
Негромкий след событий и времен.  
Во все века никто вас не осилил,  
Ни русский барин, ни чужой барон,

Их нет давно, а вы на месте — живы,  
Не по летам ваш облик юн и нов.  
Лишь ночью убаюкивают ивы  
Земную боль у звезд и у крестов.

Мы помним все, мы все прекрасно  
помним —  
От прошлых лет и до грядущих дней.  
Терпилицы, из светлых ваших комнат  
И прошлый день, и завтрашний видней.

Мы памятью богаты и красивы,  
Пока мы с ней, ничем нас не согнуть.  
Терпилицы — околицы России,  
Душа ее нетленная и суть.

★ ★ ★

Я удивляюсь осени своей:  
Вот, кажется, сойти пора бы с круга,  
А в сердце нет да шелкнет соловей  
Или другая певчая пичуга.

Жизнь все-таки загадочно мудра  
В своем зачине и в своем исходе:  
Стареют клетки, в рост идет кора,  
А в глубине под ними соки бродят.

И оживают новые ростки,  
И расцветает утро голосами.  
Весь мир наш из-под старческой руки  
В глаза нам смотрит юными глазами.

Нам быть его мгновением одним,  
Зеленой искрой вечного пожара.  
И сердце остается молодым  
До самого последнего удара.



*В. Емельянов*  
«У таежной речки» Из серии «Край неизведанный», 1983 г.,  
линогравюра





Манит город древними фресками,  
Залит Волхов потоком лучей.  
Помнит Новгород князя Невского —  
Мудрый взгляд и рука на мече.

И встают те тревожные зори,  
Колокольный набатный стон.  
По-над Волховом дремлет подворье.  
Все слышней вдали перезвон.

Ночь уходит ленивой кошкой.  
По тропинке иду к теремам.  
Будто кто-то мелькает в окошке,  
Я внимаю великим словам:

«Вечен город, как вечна Россия,  
Не исчезнут в крови и огне...»  
Куполами святая София  
Путь вокруг освещает мне.

Отозвалось за звонницей старой  
На рождении нового дня:  
«Кто придет к нам с мечом и пожаром,  
Тот умрет от меча и огня».

ВЫСТАВКА

Шедевр.  
Знаменитая кисть.  
Толпа —  
ни пролезть, ни прогрызть —  
кипит  
возле входа в музей,  
кидаясь  
в музей,  
как в бассейн.

Плывем.  
Подплываем.  
— Она!  
— В котором году создана?  
— Ну да?!  
А поди ж ты — цела!  
— А рама!  
А взгляд!  
А цена!

— Умели!  
— Уме-ели... —  
И вдруг,  
вдруг выпал  
младенец из рук —  
растрескалось  
в прах полотно.

Как будто  
разбили окно...  
Рука  
прошуршала с холста.  
Упали  
глаза и уста.  
Изморщились  
краски.

Потом  
осели,  
как взорванный дом.

И замер  
испуганный зал.  
А кто-то угрюмо сказал:  
— Шедевр!  
Шедевральнее есть —  
не мог  
духоты перенести!

Заламывал руки в ответ  
примчавшийся  
искусствовед  
и кисточкой  
тыкал в паркет,  
клочки  
собирая в пакет.

СЛОВА

Разношерстней зверей в зоосаде,  
сколько слов извергается за день?  
Как потом они все и куда?  
Неужели когда исчезали  
языки, то слова исчезают,  
будто не было их? Ерунда!

Остаются они, остаются,  
правдолюбца слова, властолюбца,  
мудреца, хитреца — всех подряд...  
От большого до малого слова,  
от магического до пустого —  
вслед за нами, за нами летят.

Но одни норовят сразу в щели,  
чтоб не трогал никто вообще их,  
а другие — в глаза, словно чад...  
Есть словечки — колечки, пустышки,  
а из них собираются книжки,  
и бренчат эти книжки, бренчат.

Те занозою в душу залезут,  
эти станут огнем и железом,  
третьи — вдаль по волнам, по морям..  
Есть слова без приюта пока что.  
Но одно поселяется в каждом,  
чтобы каждый его повторит.

Мир — от Рима до Бирмы и Лимы.  
Мир — делимый, но неодолимый.  
Мир — Кастилии и Костромы.  
Мир — негромкое, скромное слово.  
Мир — безмерного мира основа.  
Мир — начало которому мы.

## ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ

В светлом доме этом,  
стоквартирном нашем,  
мы порой с соседом  
незнакомы даже.

— Здравствуйте! — скажите.—  
Честь нам окажите:  
сторониться бросьте —  
приходите в гости!

Лучше не с пакетом,  
лучше не с букетом,  
а зато с улыбкой,  
а зато с приветом.

Не с коварным зельем,  
что вредит здоровью,  
а зато с весельем,  
а зато с любовью.

Серебра и злата  
нет в чертоге нашем.  
Чем душа богата —  
тем и вас уважим:

за чайком с печеньем —  
ласковым почтеньем,  
тихую беседой,  
дружеством согретой.

С родственным доверьем,  
с искренним участием  
поровну поделим  
горести и счастье.

...Дружат пусть под светлым  
мирным небосводом  
и сосед с соседом,  
и народ с народом.

И живут, как братья,  
без войны и злости...  
В гости приглашайте!  
Приходите в гости!

КУРОРТНЫЙ РОМАН

«Есть в каждом флирте прелесть  
новизны,  
Надежда, страх ошибки и обмана.  
Но аромат курортного романа  
Порою ощущаешь до весны.

На месяц вырываясь из оков  
Постылой службы, тягостного быта,  
Поймешь внезапно, что душа открыта,  
Принять готова... Что? А вдруг —  
любовь?

А вдруг... И жизнь пойдет на новый лад.  
Кто знает, где судьба твоя блуждает?  
А если ты к тому же молодая  
И хороша собой, как говорят,

То, на себя взглянув со стороны  
Глазами, подведенными умело,  
Наивной притворяйся или смело  
Страстям шагни навстречу, как волнам.

И пусть качает, пусть шумит в ушах.  
Ах только бы, ах только бы, ах только...  
Досталась бы хоть маленькая долька  
Того, что ждешь. Но важен верный шаг».

Примерно так раздумывала та,  
Которая, устав от жизни скучной  
В конторе и серьезной, и научной,  
Отправилась в курортные места.

В летах от двадцати до сорока  
Нет разницы для женщины, следящей  
За модой, переменчивой, летящей,  
Не то что было в прошлые века,

Когда считали старой в сорок лет.  
Теперь — эмансипация, а значит,  
И в пятьдесят от возраста не плачут  
И клином не сошелся белый свет.

Пенсионеры могут, как о том  
Поведала столичная газета,  
Влюбляться, как Ромео и Джульетта  
(Когда нужны квартира или дом).

О, тайны душ! О, выплески страстей!  
Какой психолог разрешит проблемы,  
Которые обсасываем все мы  
На службе или в обществе гостей?

А нашей героине — тридцать два,  
Как говорили. Но казалось меньше.  
Из тех полудетей и полуженщин,  
Лепечущих наивные слова,

Она была, еще со школьных лет  
Умеющих молчать с улыбкой странной  
В двусмысленной беседе ресторанной.  
И это называлось: знала свет.

Да, этот «свет» был познан.  
И принес  
Плоды свои: прищур товароведа,  
Оценщика — где ждет успех, победа,  
Где мелкий клерк, а где солидный босс.

С одним и в баре не присесть рядком,  
С другим в машине укатить на сутки.  
Куда? Зачем? «Оставьте  
предрассудки!» —  
Кто с возгласом подобным не знаком?

Но как ни хороша она была,  
Кончался спрос на дальние прогулки.  
Сиди одна, дави свои окурки  
И злись не злись, а смена подросла.

Пришла пора задуматься всерьез  
О той опоре, без которой туго:  
Найти бы обеспеченного друга,  
А лучше — мужа.  
Только где? — вопрос.

В конторе было скучно.  
От и до  
Она томилась и вздыхала тяжело.  
И даже раз подумала, бедняжка,  
Уж не заняться ль йогой иль дзюдо?

Решение на осень отложила,  
Когда в месткомке выплыла путевка,  
Она себя прихорошила ловко,  
Мурлыча пошлый шлягерный мотив



Та, книгу отложив, очки сняла.  
Взглянула, не скрывая удивленья,  
На образец молодого поколения,  
Что мчит, грызя стальные удила.

«Устроились, сушеные грибы!» —  
Диана, шурясь, оглядела стены.  
Так встретились две разные системы,  
Два возраста,  
                    два мира,  
                                    две судьбы.

«Я вам должна всю правду рассказать.  
Ваш муж и я... Да, мы нашли друг друга.  
Ему я буду верная супруга  
И детям — добродетельная мать.

Должны вы отпустить его.  
                                    Развод  
Оформите, когда вернетесь в город.  
Я молода, а он уже не молод.  
А время, как вы знаете, не ждет».

Старушка улыбнулась.  
                                    Ясный свет  
Глаза струили.  
                    «Вы серьезно это?  
И ждете откровенного ответа?  
Бойтесь, что отвечу резко: нет?!

Но если будет крепкая семья,  
Я, милая, за вас обоих рада.  
Но жить на что? Ведь вам нужны  
                                    наряды?» —  
«Он — академик!» —  
                                    «Академик — я!

А он — пенсионер. Сто двадцать ре,  
Как говорят сегодня наши внуки.  
Куда же вы? Постойте!..»  
                                    Даже звуки  
От каблучков затихли во дворе.

Читатель спросит: где же тут мораль?  
Морали нет. Все ясно без морали:  
В наш век эмансипации едва ли  
Мы выиграли что-нибудь. А жаль!

★ ★ ★

Какой чужой, какой холодный взгляд,  
прошла, сказала «здрасьте» без надлома  
та женщина, что две зимы назад  
была до тайной родинки знакома.

И я, ответив что-то невпопад,  
забыл, куда я шел,  
и долгий вечер  
былое вспоминал,  
и снегопад  
выбеливал мне голову и плечи...

★ ★ ★

Забелила околицу вьюга,  
голубая изба набекрень.  
Ни жены, ни собаки, ни друга —  
одиночества праздничный день.

Печь затоплена, пахнет берестой,  
ходят ходики, стол у окна,  
карандашик, отточенный остро,  
кружка чая, табак, тишина.

★ ★ ★

Иные времена, а люди те же,  
иные словеса, а все о том же,  
стучат сердца не чаще и не реже,  
и голоса не гуще и не тоньше.

Все те ж причины счастья и печали  
и разные, как при царе Горохе;  
похожи мы крикливостью вначале  
и немотою при последнем вздохе.

И лезем, лезем к кассовым окошкам,  
толкая в бок наивного собрата,  
предпочитая трель горластой мошки  
речам негромким мудрого Сократа.

## МАСШТАБ

Сделав два витка перед картой мира,  
что висит в избе на кухне,  
комнатная муха приземлилась  
в Америке...

По воде, как по суху,  
миновала Бермудский треугольник,  
задумалась в Португалии,  
что-то прикидывала в Люксембурге,  
долго приюхивалась в Польше...

За окном бекал стриженный баран,  
тявкала на бригадира собачонка,  
проехала телега с комбикормом.  
А муха уже мыла лапки  
в Малой Вишере...

Тут я и хотел ее прихлопнуть газетой,  
но она взмыла в космос  
и быстрее скорости света  
достигла созвездия Лампочки...



**ТЫ И Я**

*Кубинскому студенту  
Хорхе М. Диас Пересу*

Повыгорали  
наши стройотрядовки.  
Поизносились  
наши сапоги.  
Уже встает  
вдали двойная радуга.  
И из зарплаты  
вычтены долги.  
Жол болсын! \* — ветер  
повторяет ласково.  
Счастливо оставаться вам,  
друзья!  
Мы в будущее  
не глядим с опаскою,  
Поскольку жили  
как одна семья.  
Рахмат, рахмат! \*\* —  
напутственному  
опусу.  
Подведена последняя черта.  
Спасибо! —  
дальнобойному автобусу.  
Он увезет нас  
скоро в Кокчетав.  
...Вновь под крылом  
сверкнет полей  
мозаика.  
Дорога канет  
паутинкой в степь.  
Давай возьмемся  
на прощанье за руки  
И будем помнить  
казахстанский хлеб.  
Мы навсегда  
с тобой отныне молоды,  
Поскольку жили  
как одна семья.  
И нашей дружбы  
неразменным золотом  
Всю жизнь гордиться  
будем ты и я.

---

\* Жол болсын! — Счастливого пути! (*Казах.*)

\*\* Рахмат! — Спасибо! (*Казах.*)



Уже осенняя нервозность  
Таится в шорохе листвы,  
Днем пахнет яблоками воздух,  
А ночью — сыростью травы.

И постепенно, постепенно,  
Не удержавшись на стволе,  
Сползает листовая пена  
И пузырится на земле.

Полураздетыми ветвями  
Вцепившись крепко в облака,  
Сад возникает перед нами,  
Не успокоенный пока.

То буйствует, а то задремлет,  
То плачет тихо, то зовет,  
То спелым яблоком о землю  
Ударит гулко — и замрет...



Вчера земля была гола  
И снег лежал уныло,—  
А нынче вдруг трава взошла —  
И сердце защемило.  
А завтра этот всплеск весны  
Уже привычным станет.  
Очарованье новизны  
Почти мгновенно тает.

Но, слава богу, белый свет  
Есть мудрость повторений.  
Природе вольной дела нет  
До наших ощущений.  
Мы ей указов не творим:  
Быть желтой иль зеленой,—  
Живет по правилам своим  
И по своим законам.

И каждый год, как в первый раз,  
Могуча и бессмертна,  
Трава уколёт в сердце нас —  
И станет незаметна...



Над Пушкином белые ночи,  
в молочном тумане сады.  
Лишь статуй бессонные очи  
в недвижные смотрят пруды.

Безмолвствуют классы пустые,  
уснул Царскосельский лицей.  
Спит мальчик, надежда России,  
с улыбкой на светлом лице.

Я вижу, мой близкий, мой дальний,  
как, славой грядущей горда,  
над маленькой темною спальней  
высокая встала звезда.

Со дна золотого колодца  
земле посылая лучи,  
о будущем счастье — смеется,  
о будущей боли — молчит.

Спит юноша в спальне узкой,  
от грозной судьбы вдалеке,  
и сердце поэзии русской  
в его полудетской руке.

Не надо о бедах пророчить!  
Да будут теплы его сны..  
Над Пушкином белые ночи,  
молочные сестры весны.

*В Емельянов «Дикие лебеди».*  
Из серии «Воспоминания о Севере», 1970 г, линогравюра



## ДВА СЧАСТЬЯ

Прилетало последнее счастье,  
обнимало любовью своей...  
Если взглядом сквозь годы  
  промчаться,  
разве первое счастье сильнее?  
И красивей?..

Смотри, как похожи:  
знать не знают ни страха, ни лжи,  
ни дыхания смерти...

И все же  
бездна жизни меж ними лежит.



Петунии, настурции  
украшили балкон...  
Простейшие конструкции.  
Асфальт, стекло, бетон.

Настурции оранжевы.  
Петунии красны...  
Что, горожане, раньше вы  
не ждали так весны?

Нет сил. Свело дыхание.  
Травы хотим, цветов.  
Ведь миром любованье —  
как первая любовь.

## НОДАР ДУМБАДЗЕ

Как вспомню — душе легко.  
Книга — и явь, и сон —  
«Я, бабушка, Илико  
и Илларион».

Здесь, в жизни, недалеко  
зlobe и лжи заслон —  
он, бабушка, Илико  
и Илларион.

Честь, правда всегда живет.  
Сердце порой сдает...  
Он — родина и народ,  
Грузия и народ.

## МАМА

Корку хлеба не выбросит мама —  
только птахам раскрошит она.  
Оттого ли, что в юности мало  
было света, тепла и зерна?

Мчалась юность, двадцатые годы,  
расцветала ее красота...  
Вслед — война и невзгоды, невзгоды...  
А душа — все, как прежде, чиста.

Не потерпит душевного хлама  
и, прекрасна, всем людям видна,  
злого слова не вымолвит мама —  
только взором просветит до дна.

**ЛЮБИТЕЛЮ ФОТОГРАФИИ**

О засвеченной пленке не плачь  
И о том, что в порыве ретивом  
Кое-что из сюжетов-удач  
Ты с закрытым снимал объективом.  
Позабудется это и то,  
А резиновой памяти нету.  
Жестко времени бьет долото,  
Пустьяки — горевать по сюжету.  
Но праправнук однажды замрет,  
Когда где-то на карточке старой  
Вопрошающий взгляд твой найдет:  
«Как живете? Какие вы стали?»  
Разделяет нас кладка времен,  
Не прозрачен железобетон.  
Но без нас, сокрушителей зла,  
Без горючего нашего пота  
Не пришла бы она, не пришла,  
Ваша праздничная работа!

**ПОЗДНЯЯ РАДОСТЬ**

Откуда этот ветер южный  
В такие наши холода?  
Какой пришел дорогой кружной,  
Слегка плечом задев? Когда?  
Нет, не задел, а только глянул —  
И зов, и вызов. И тепло.  
Пускай покой бесследно канул,  
А мне светло. А мне светло!  
Откуда в ней, в декабрьской рани,  
В кромешной тьме — веселый свет?  
...Рукопожатье на собранье —  
И расцвела. Как в тридцать лет.

ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ

Горыныча звали Жорой,  
Он жадиной был и обжорой.  
Покуда был еще мал —  
Игрушки у всех отнимал.

Похваливал Жору отец:  
— Пстой за себя! Молодец! —  
А мама журила нестрого —  
Ее отвлекала йога.

И вырос Жора верзилой,  
И стал над нечистой силой  
Начальником всемогущим  
(По-прежнему загребушим!).

Сначала парадную ступу  
Забрал он у Бабы Яги.  
Сказал ей: — Противиться глупо.  
Ты нервы побереги!

Потом за казенный счет  
Построил себе змеелет.  
Летал над садами густыми —  
Сады превращал он в пустыни.

С Кощеем вступил в перебранку  
И скатерть забрал самобранку:  
В три горла он ел и пил  
И три головы отрастил.

Но вредно хапать помногу —  
И нажил Горыныч изжогу.  
Теперь изрыгают пламя  
Все три головы подряд...  
Ведь Жоры не знают сами,  
Что — время придет — погорят!  
Меня удивляют родители:  
Горынычей, что ли, не видели?

КАК РОСЛА БАБА-ЯГА

Наверно, Яге-девчужке  
Привольно жилось,  
без забот:  
Ей мама пекла ватрушки,  
А папа клал ягоды в рот.

Они ей лесные диковинки  
Дарили наперебой:  
То коврик из листьев, махровенький,  
То ступу с узорной резьбой.

И нечему тут дивиться,  
Что скоро им стало невмочь:  
Капризной и вздорной девицей  
Росла их любимая дочь.

— Не нужно варенье черничное,  
Подайте мне заграничное!  
— А где заграничное взять? —  
Вздыхала усталая мать.

— Ах так? —  
И однажды сглупу,  
Родителям нежным назло,  
Уселась девчонка в ступу,  
Схватила рывком помело,

И только лягушки видели,  
Как ступа летела в лес...  
Хватились наутро родители,  
А дочки и след исчез!

Яга и поныне вздорная —  
Так сказка нам говорит, —  
То путника кормит, покорная,  
То слопать его норовит!

★ ★ ★

Конь горяч и тяжел,  
И рука от поводьев устала.  
Усмиренный орел,  
Мне покорности преданной мало.  
Степь дотла сожжена,  
Словно кости, белы саксаулы.  
Не орлица нежна,—  
У колодцев глубоких аулы.  
Солнце лишь ореол:  
Даль, пронзенная инея жалом.  
Небу верный орел,  
Своеволья мне грозного мало.  
Зверя павшего крик!  
Не дано утаить ликованья.  
Узнаю тебя, миг,  
Породивший два сильных желанья!

★ ★ ★

Я тень твоя, хороший человек.  
Ты средоточье солнечных полотен.  
Я ж темен, зыбок и бесплотен.  
Ты полон сил, я коротаю век.  
  
У ног твоих я мерно колыхаюсь.  
Я не смеюсь, не плачу, не грущу,  
Не берегу, не трачу, не ищу,  
Ни плевелом, ни сутью не являюсь.  
  
Чуть день уснул, и нет меня в помине.  
Я света раб, но сам ни тьма, ни свет.  
Меж пораженьем и стезей побед  
Я жизнь свою обрел посередине.  
  
Я свету должен кратким бытием,  
Плачу по мере сил его сиянью.  
Пусть я полет, спокойствие, вниманье,  
Я суть ничто, все средоточье в нем.  
  
Да, этот свет и добр, и юн, и смел.  
Меня же любят и хулят от скуки.  
Есть у меня чело, и стан, и руки,  
Все повторив, я позабыть сумел.  
  
Свет изобилье, я же ограничен:  
Трепещущий и тающий клочок.  
О человек, тебя боится рок,  
Ты лучезарен, тенью возвеличен.

★ ★ ★

По дорогам шли мужчины  
На войну или с войны.  
У одних, глядишь, морщины,  
У других, глядишь, чины.

А тому — звездой к закату  
Обелиск на полосе.  
«Неизвестному солдату» —  
Вот и сведения все.

Где его легенда бродит?  
Неужели — горько знать —  
Неизвестная приходит  
На могилу к сыну  
Мать?



## НОННА СЛЕПАКОВА

### УБОРКА УРОЖАЯ

Те зерна, что я посадила в апреле,  
Взошли, всколосились, вконец созрели.  
Эй, Жница-Разумница, пустим под нож,  
Под серп,  
          изогнувшийся знаком вопроса,  
Колосья, полегшие криво и косо,—  
Сокрытый мой жар, очевидную дрожь.  
Ты так задержалась, Разумница-Жница!  
Бери, что осталось. Моя ты должница!  
Убористой чтобы, ногой придави!  
В амбаре у нас не сгниет, отлежится  
Год первой болезни, последней любви.  
Признайся, что не было в нашем запасе  
Любви, растворенной в погибельном часе.  
Но мы ее тоже несем в закрома!  
Сойдет, пригодится, рассеется в массе.  
Убрать ее с глаз! Не в десятом мы классе.  
Пора закругляться. Подходит зима.

### ОКНО

Не видеть мне Монтевидео  
И в Антарктиду не отплыть,  
Но я могу — простое дело —  
Окошко в комнате открыть.

В дворовом воздухе заметны  
Песчинки моря и пустынь,  
И серный дым коварной Этны,  
И льда арктическая синь.

И в вышине я вижу снова  
Двором очерченный квадрат —  
Кусочек неба мирового,  
Мой бриллиант в один карат.

### БАЛЛАДА О СВЕЧЕ

Ночь идет быстротечно.  
Вдруг Он Ей говорит:  
«Разойдемся навечно,  
Чуть свеча догорит!»

Безнадежен и жарок  
Этот шепот в ночи.  
Но остался огарок —  
Половинка свечи.

Тут Он пойман на слове,  
Отпереться невмочь.  
Повторенья любви  
Назначается ночь.

Поутру, без заминки,  
Из высоких свечей  
Жжет Она половинки  
Для повторных ночей,  
И дрожит огонечек  
В белом свете окна.  
Так огарки отсрочек  
Припасает Она,  
И свечу подменяет  
Осторожно в ночи,  
И над спящим склоняет  
Свет обманной свечи.

Отчужденно, сурово  
Дремлют брови, плеча...  
Он проснется — и снова  
Не сгорела свеча!

И нетленный огарок  
Все падает в потолок,  
Как прощальный подарок  
И как вечный залог.

Он пылает прилежно  
В полуночной тиши —  
Не обман, а надежда —  
Ухищренье души.

**ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР**

**С и н и ц ы:**

Вы сожрали наших мошек,  
не оставили и мушки,  
эй вы, жертвы драных кошек,  
отвалите от кормушки!

**В о р о б ь и:**

Вы, прохвостки и пройдохи,  
вертихвостки и мерзавки,  
не хватайте наши крохи —  
мало нам самим добавки!

**У м н а я в о р о н а:**

Да не клюйте вы друг дружку,  
вся-то ссора из-за сора,  
опрокинете кормушку,  
а весна еще не скоро!

**ЗЕМНОЕ СЕРДЦЕ**

1

Нас уводит земная дорога  
За черту неизведанных дней.  
Даль ее застигает тревога,  
И надежда восходит над ней.

Меж рассветным лучом и закатом  
То ликуя идем, то скорбя,  
Созиданье избрав провожатым  
И любви доверяя себя.

Неподвластны земному раздору,  
На руинах и в смертном бою  
Созиданье мне дарит опору  
И любовь — окрыленность свою.

Если я оступлюсь или струшу  
На извивах дороги земной,  
Возвращая мне разум и душу,  
Оба спутника рядом со мной.

2

Земного сердца стук бессмертный.  
К живым часам обращена,  
Любовь как будущность вселенной  
По ним сверяет времена.  
Ей возвещают вечным боем  
Надежду, боль и торжество  
Несовместимые с покоем  
Удары сердца моего.

3

Наперекор земным пожарам  
И возрождаясь на крови,  
Гордись, мой век, творящим даром —  
Победным именем любви.

Преграды смертные минуя,  
На помощь разум призови,  
Который ненависть земную  
Осудит именем любви.

На всех дорогах встав заслоном,  
Огонь вражды останови,  
В сознание мира обновленном  
Назвавшись именем любви.

ПАМЯТИ ДОМА НА ОХТЕ

Большую Охту знает каждый:  
Универсам и «Юбилей»...  
А мне домишко двухэтажный  
На Охте  
    был всего милей.

Он вдруг исчез необратимо,  
Видать, сломали сгоряча...  
Впервой Надежда Константиновна  
В нем увидала Ильича.

Под маской масленицы красной,  
Под сенью снежной пелены  
Электротехник Роберт Классон  
Встречал марксистов «на блины»...

Ильич присматривался к людям,  
И люди — тоже — к Ильичу...  
Пересекались нити судеб,  
Но не об этом я хочу...

Еще почти что четверть века  
России плыть до Октября!  
Но два родных нам человека  
Друг с другом встретились не зря...

...Иду по Охте. Рядом — Смольный.  
Неву не сковывает льдом.  
Все новь и новь!  
    А сердцу — больно:  
Не сохранили этот дом.

ВЕЛИКАЯ СИЛА

9 августа 1942 года в Ленинграде  
исполнялась Седьмая симфония  
Дмитрия Шостаковича

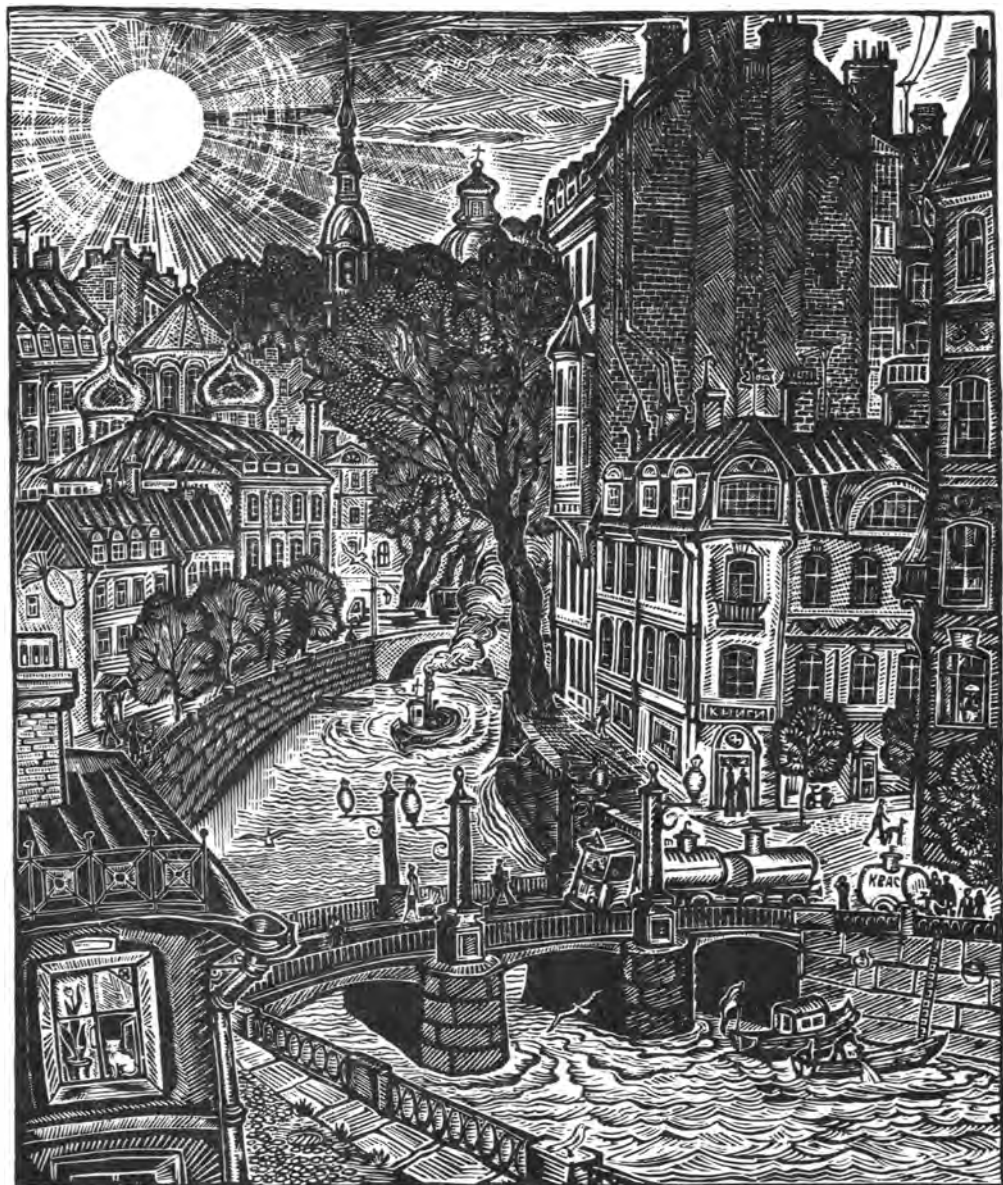
Не склонный к позе,  
    к многословию,  
    к азарту,  
Суров,  
    как будто вытянут в струну,  
Сказал командующий Говоров  
    начарту:  
— Сегодня обеспечьте тишину.

Чтоб всю грудь пели трубы и фаготы,  
Не сбилась музыкальная строка —  
Вся артиллерия Ленфронта и Балтфлота  
Была готова сокрушить врага.

— Сегодня вечером Седьмая! —  
    шло стоусто.  
И не дрожало ни одно окно.  
Великой Силою  
    великое Искусство  
Надежно от врага защищено...  
. . . . .

Сегодня мир — на самой-самой грани.  
Верни, Искусство, долг! Соедини  
Все ручейки Добра в могучем океане,  
Сердца людей борьбой воспламени!  
Найди такие ноты и слова,  
Чтоб смерть пресечь,  
    чтоб Жизнь была жива!

В. Блинов  
«Ленинград», 1984 г., линогравюра



**ЛЕТНИЙ САД ДНЕМ**

Снег, как павлин в саду — цветной,  
с хвостом,  
с фонтанчиком и женскими глазами.  
Рябиною синее красный холм  
Михайловский — то замок с крышей  
гильзы:  
деревья-девушки по две в окнах,  
душистых лип сосульки слез — годами.  
На всех ветвях сидят, как на веках,  
толстая, голубицы с голубями.  
Их мрачен рот, они в саду как чернь,  
лакеи злые, возрастом геронты,  
свидетели с виденьями... Но речь  
Истории — им выдвигает губы!  
Михайловский готический коралл!  
Здесь Стивенсон вскричал бы вслух:  
«Пиастры!»

Мальтийский шар, Лопухиной колер...  
А снег идет в саду, простой и пестрый.  
Нет статуй. Лишь Иван Крылов, статист,  
зверолюбив и в позе ревизора,  
а в остальном снег свеж и золотист,  
и скоро он стемнеет за решеткой.  
Зажжется рядом невских волн узор,  
как радуг ряд! Голов орлиных злато  
уж оживет! И статуй струнный хор  
руками нарисует свод заката,  
и ход светил, и как они зажглись,  
и пасмурный, вечерний рог горений!  
Нет никого... И снег из-за кулис,  
и снег идет, не гаснет, дивный гений!

Вот лебедь — а как раб, летит, поет,  
свободный свет он, краснокрыл и звонок,  
у лап в клешнях и синий ал полет,  
и в ветры птицеперый держит зонт он.  
Вставайте, рыбы, из морей, из блюд  
хрустальных, — бьют столбы луны  
залетной,  
из морд морей тяжелый изумруд  
упал, сквозной, и капает, зеленый.  
Диск незакатный! Розовый! Душа  
планет ничейных! — сердца смесь с луною,  
из радуги, из влаги он, дрожа,  
летит и льнет ко мне как бы с любовью,  
он по аллеям, как платок, летит,  
он ледяной, отогнанный, животный,  
как с хутора, как с хартией тех лет...  
Я лист возьму: он шелковый и желтый.  
Он — слог у губ, он голос, о, не сглазь,  
он скомкан, с кем-то, ткань он, ниоткуда...  
О море, омут человеко-слез,  
плывущее о двух ногах куда-то!  
Краснеет от заката и светла  
вода морская — как волна морская!  
И грудь ее плывущая свежа,  
как женская и молодая!

**ОСЕННЕЕ**

Куда бежит оранжевый орел  
по воздуху и гонится за кем он?  
Кто взял у горизонта ореол  
и в воду окунул, как бы с закатом?  
Зачем луна как золото взошла,  
искусство искр у неба отнимая?  
Идет-гудит внизу морей вода,  
голубоват фарфор и у омара.

РОДНИКИ НА СКЛОНАХ

★ ★ ★

Разве о смерти  
на склонах поют родники?  
Разве в росинках  
погибели черной рости?  
Разве цветов  
подарить мне не могут поля —  
если под ними  
о радости пела земля?  
Разве о смерти  
звезда говорит в вышине?  
Атомной пыли  
ужели гнездиться во мне?  
Разве прохладу  
подарит мне атомный гром?  
Песню слагал я  
о веке суровом своем,  
песню слагал я  
про милые сердцу края —  
в ней исцеленье мое  
и надежда моя!

★ ★ ★

Вырвалась птица  
из атомной пыли,  
мчится по белому свету,  
людям твердит,  
чтоб они не забыли,  
и повторяет упорно:  
тлеют, пульсируют  
страшные зерна,  
сжечь угрожают планету...  
Птица про боль человечьего рода  
людям кричит,  
про печальные сны,—  
рвется из атома, из глубины  
разнузданная  
свобода.

В голосе птицы  
тревога сквозит:  
как же свобода —  
свободе грозит?

Синие видятся птице дороги,  
добрые отблески  
мирных огней...  
Чтоб заглушить  
этот голос тревоги,  
гонятся злобные силы за ней.  
Видится птице людское жилье —  
землю знобит  
от пророчеств ее.

— Горькая если наступит пора,—  
молвит высокая птица,—  
мать с сыновьями  
и с братом сестра  
разве успеют проститься?  
Гибель без выстрела,  
ужас войны —  
этого ль ждешь ты,  
природа?  
Рвется из атома,  
из глубины  
разнузданная  
свобода.

★ ★ ★

Что холмы мои сожгло,  
поломало тополя  
у поющего ручья?  
Ветром пламя принесло —  
пляшет, землю опала,  
и повергнута ладья,  
на которой я не раз  
от чернеющих камней  
плыл к счастливым берегам...  
Катастрофы черный час  
угрожает все сильней  
людям, мирным очагам.

На поломанных ветвях  
гнезда теплые свои  
ищут малые птенцы;

в старых спрятались камнях,  
притаились муравьи,  
леса доброго жильцы...

Кто же радугу сломал,  
заморозил молний свет,  
иссушил зеленый луг?  
Лунность моря, пенный вал  
кто мечтал свести на нет,  
тьмой окутать  
солнца круг?

Не сходи, земля, с ума,  
ветер, тучу не гони.  
что живому так страшна...  
От нее храни дома,  
зерна жизни, наши дни,—  
да рассеется она!

★ ★ ★

Берегись того слова,  
что душу  
превращает в колючий терновник  
на безумном холодном ветру.

Берегись того слова,  
что в камень  
обращает стволы вековые,  
а зеленые ветви — в золу.

Это слово  
ту искру погасит,  
что в кремневом сучке затаилась  
где-то в недрах высокой скалы...

Берегись того слова,  
что в силах  
обратить самый нежный росточек  
в дикий куст ежевики лесной.

А терновник  
вражды и насилья  
может ранить чело небосвода  
так, что крови последнюю каплю  
пораженное солнце прольет!

★ ★ ★

Солнце на стенке оставило око,  
стала живою стена...  
Мы друг на друга глядим — и глубоко  
верим:  
надолго нам радость дана.

Вот перед солнечной встал я стеною,  
сердцем поверить готов:  
новый, значительный день предо мною,  
день и мечты и трудов!

Если уснет это ясное око,  
если уступишь ты мгле —  
темень зловещая выйдет до срока,  
станет бродить по земле...

Бойся, чтоб сила незрячая эта  
в нашу не вторглась любовь,  
не ослепила сиянье рассвета,  
голос родившихся слов!

★ ★ ★

Упало солнце на речное дно —  
ему уже сегодня не дано  
в зенит вернуться, к радостному зною...

Уставшее, сквозь сумеречный дым  
оно сухим узором золотым  
готово встретить празднество ночное.

И только утром, в сладком полусне,  
оно взлетит по золотой струне  
и к необъятным высям устремится...

Обрадуются небо и вода —  
как будто вылетает из гнезда  
влюбленная, сверкающая птица.

*Перевод с сербскохорватского  
С Ботвинника*





Нет бы капли зазвенели,  
Пузырьки пустились в пляс!  
Еле-еле, еле-еле  
Он идет который час...

Не идет он, а висит.  
И не льет, а моросит.

Бедный Медный всадник мокнет:  
От дождя не ускакать!..  
Мокнут стекла.  
Плачут окна...  
Только лужам благодать!

Вот обида!  
Вот досада!  
Сутки кряду  
Льет и льет!  
Говорят, у Ленинграда  
Мокроклимат круглый год.

Только это все неверно.  
Скоро солнышко сверкнет.  
Туча в небе — как цистерна!  
Воду выльет — и уйдет.

Будет ласковой Нева,  
А над нею — синева!..

Только б снова эти шпиди  
Что-нибудь не зацепили!..

МАЙСКОЕ УТРО

Какая радость в мире разлилась!  
Зеленым нимбом светятся березы,  
Округа пробуждается смеясь —  
В такое утро нет на свете прозы.

Блестит трава, блестят бока грачей,  
Блестит река, под солнцем расцветая,  
И даже самый маленький ручей  
Взахлеб о первых радостях болтает.

А яблоня, в предчувствии цветов,  
Раскинув руки, ловит теплый ветер...  
И кажется, за ближним лесом встретят  
Тебя надежда, вера и любовь.

★ ★ ★

Уставши с дороги, я в сад забреду  
послушать, как песни свои  
выводят в заброшенном старом саду  
скворцы, воробьи, соловьи.

Не всякая песенка тут хороша,  
не всякая мне по душе.  
Но, слушая птиц, отдыхает душа,  
и верится в рай в шалаше.

Стою очарованный в бедном раю,  
а птицы порхают, звеня.  
И каждая песенку любит свою.  
И дела им нет до меня.





**ЧЕРНОБЫЛЬ-1986**

**1**

Тут никакой не пригласит редактор,  
Не отвернешься: «Не вижу!» — когда  
Вышел из повиновенья реактор,  
Огненный лик приоткрыла беда.

О радиации острые толки  
В мире которые сутки подряд:  
Густо ль  
                                незримые эти иголки  
В воздухе нашей планеты парят?

Виснет над Припятью небо сырое,  
С грузом бетона проносится МАЗ,  
И в респираторных масках герои  
Из телевизоров смотрят на нас.

Что-то уляжется, определится,  
Только отныне  
                                твое и мое  
Время  
                                и так еще будет делиться:  
До этой даты и после нее.

**2**

Пустые села, темные увалы,  
Блестит шоссе, и сутки напролет  
Идут, рыча, в Чернобыль самосвалы,  
Парит и зависает вертолет.

Не кадр кино, не сцена из спектакля —  
Воочию, в натуре видишь ты:  
Еще запасы в людях  
                                не иссякли  
Самоотверженности,  
                                высоты.

И, втайне сердцем ощущая смуту,  
Я говорю опять, в который раз:  
— Простите,  
                                если худо  
                                хоть минуту  
Я думал,  
                                современники,  
                                о вас!

Тому назад неделю, две недели  
Мог допустить по глупости, спроста,  
Что вами, пусть отчасти, овладели  
Благополучье, сытость, глухота,

И по приметам, видимым снаружи,  
В какой-то миг с собой наедине  
Помыслить смел, что вы хоть в чем-то  
                                хуже  
Сражавшихся когда-то на войне!

Какие сутки вахта ваша длится  
И день и ночь, под солнцем и дождем?  
Я слышу вас, я вижу ваши лица  
И говорю себе:  
                                «Не пропадем!..»

И вновь с экрана резко и жестоко,  
Как после раны свежие рубцы,  
Четвертого разрушенного блока  
Чернеют закопченные зубцы.

А дальше вдруг — дорога полевая,  
Березовые рощи там и тут,  
И, о несчастье не подозревая,  
Летают птицы  
                                и цветы цветут...

**ВОПРОС**

В новом клубе, в поселке, где ветром  
                                морским  
Пахнут улицы, камни и в скверах сирень,  
Мне записку на стол положили: «Каким  
Вы себе представляете завтрашний  
                                день?»

Я ответил, как прежде случалось не раз:  
«Этот день — на пороге, наш гость и  
                                судья,  
А каким ему быть — все зависит от нас,  
А точнее — от вас, молодые друзья!»







★ ★ ★

Я напишу стихи.

И эти звуки

Пусть будут сокровенны и чисты,  
Пусть встретятся в рукопожатье руки  
И зазвучат две ноты: «я» и «ты».

Я напишу стихи

не ради славы,

Не потому, что пишется — пиши.  
А так, чтобы кому-то грустно стало,  
Тому, кто не привык грустить в тиши.

Я напишу стихи

не ради слова,

Не ради строк, не ради ремесла,  
А чтобы радость повторилась снова  
И ясным солнцем над землей взошла!

*Переводы с крымско-татарского  
С. Лаевского*

## ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Последний снег, упавший с неба манной,  
Последний снег, внезапный и обманный,  
Последний ослепительный лежит.  
И дворники его не убирают,  
И все его ногами попирают,  
Никто на свете им не дорожит.  
Он чист, непогрешим и непорочен,  
Беспомощен, случаен и непрочен,  
Он — времени прошедшего глоток.  
Над ним уже судьба его витает,  
Сверкающий в отместку, он не тает  
И на сердце оставит холодок...

И — ликование птичьего полета,  
И ты как бог нисходишь с облаков...  
Военный цвет и звезды вертолета  
Тебе напомнят вдруг, кто ты таков.

Пусть прыгнул ты не по команде:  
«К бою!» —

Но, падая, ты ощутил свой вес...  
Вдруг этот яркий купол над тобою  
Надежнее, чем вечный свод небес?



Свет осенний ярк беспощадно,  
До былинки все освещено.  
Все рельефно, четко и наглядно  
И плодами овеществлено.

Только что вокруг клубилось лето,  
Небосвод таинственно сиял.  
Вдруг со всех растений и предметов  
Словно кто-то покрывало снял.

Все обнажено, а смысл — упрятан.  
Речка притворилась будто спит.  
Свет осенний с привкусом утраты  
В неподвижном воздухе стоит.

## ПАРАШЮТИСТ

Под ярким куполом спускаясь вниз  
на землю,  
О чем ты думаешь, скажи, парашютист?  
Какие чувства грудь твою объемлют?  
В ушах твоих не времени ли свист? —

Оно навстречу бешено несется,  
Покуда ты стремглав и камнем — вниз,  
И ждешь рывка, как ждет природа  
солнца,  
Но вот — рывок, и — «миг, остановись!».

## НАШ АРСЕНАЛ

Среди прославленных оград,  
оград чугунных Ленинграда,  
есть арсенальская ограда  
из пушек,

выстроенных в ряд.

А что хранит наш Арсенал,  
что сберегает и лелеет?  
Пройдись по солнечной аллее,  
прочти погибших имена.  
И каждый раз на склоне дня  
неторопливо оглянись ты  
на шелест тополей ветвистых  
у негасимого огня.  
Хранит и помнит Арсенал,  
кто шел сюда под вой метели  
и у горна при артобстреле  
мечи возмездия ковал.

## БЕРЕЗА

Бывают разные курьезы,  
а этот — радует глаза:  
построен дом вокруг березы.  
Вокруг... Я правильно сказал?

Росла дурнушкой.  
Ствол изогнут,  
изогнут в сторону и вверх.  
И вдруг она попала в зону  
постройки дома, как на грех.  
Хозяин хмур, а дети рады,  
у всех прибавилось забот.  
Округлый люк в полу веранды,  
окошко круглое... И вот,  
береза тянется из дома,  
шумит, как вешняя река,  
и у широкого фронтона,  
и у высокого конька.

Хозяев дома не замаю.  
Я с ними шапочно знаком.  
И ничего о них не знаю,  
и знаю все, взглянув на дом.



Выпустив первые трели,  
Громче, скворец, говори!  
Снова глубины и мели  
Давятся вздохом зари.

Охают ветлы босые,  
Лес — в заревой нагоде.  
Лодки, как будто борзые,  
Рыщут по темной воде.

Тише! Одумайтесь, «тулки»,  
Хватит вам тьявкать, курки.  
В каждом озерном заулке  
Нежно горят плавники.

Дайте же рыбинам время,  
Чтобы свой выплеснуть гул.  
Славься, заветное стремя,  
Свежесть пунцовая скул!

Слышите! Это же счастье —  
Молоди новой разбег...  
Жребий земного участия  
Я принимаю навек!

Он взял тогда левой немножко  
И выше взмыл, окинув Русь,  
Из серебряного лукошка  
Просыпал горестную грусть.

День начинался самый чудный,  
А вдоль проталин и дорог  
Грачиный говор пересудный  
Гремел, не слушая сорок.

В небесном лепете и гаме,  
Доверясь песенной судьбе,  
Он стал ходить, ходить кругами,  
Еще не веря сам себе.

Ему грачи кивали важно —  
Мол, до чего собою мал,  
А он, отчаянный, бесстрашно  
То падал камнем, то взлетал.

Не думать бы о горькой доле,  
Душой приемля благодать...  
А он никак не может в поле  
Родную кочку отыскать.



Проныра март уж тронул почки,  
Но есть у песни свой удел.  
Мечтая о родимой кочке,  
Вдруг жаворонок прилетел.

Он поутру залился звонко.  
Но что такое? Кочки нет,  
Повсюду ямы да щебенка,  
Исчез жилья бывшего след.

Горячей, но тоскливой силой  
Перехватила горло трель.  
Он ради этой кочки милой  
Спешил за тридевять земель.

А пойма булькала и пела,  
И говорила: «Охать брось!»  
А он повис оторопело,  
Швырнув своих горошин горсть.

Пусть для кого-то неприметной  
Та кочка малая была,  
А он считал ее заветной,  
Как рожь свою перепела.

КОГДА ВСЕ ЗАТИХЛО...

Когда все затихло, представилось  
взглядам,  
Какие страданья земля претерпела.  
И плакал цветок над обугленным садом,  
И робко трава принималась за дело.

Она закрывала следы разоренья,  
И дети войны уцелевшие стали  
Той первой, той бледной  
травой-поколеньем,  
Которой руины семей зарастали.

Учились непросто и в мир выбирались,  
Верней — пробивались из дыр  
коммуналок.

В цехах и общагах ума набирались,  
И труд наш был жарок, а вид наш был  
жалок

В той — латаной, штопаной, криво  
сидящей,  
Окопного цвета и крашено-черной,  
В той — стоптанной, клеенной, каши  
просящей.  
С пометами драк под нулевкой и челкой.

Мы ростом не вышли — ведь почва  
такая —  
Из камня и горя — придумай беднее.  
Мы совестью вышли, о том и не зная.  
А поняли нынче: в сравненье виднее...

«Постановили!» — стонут ели.  
И ветви вскинула сосна:  
«Вы хоть полсотни отшумели,  
А мне — двадцатая весна!»

Смолистые катились слезы.  
И вдруг с испугу — ой, беда! —  
Рванулись юные березы,  
Бегут поляной... А куда?

Мелькнули ситцевые платья,  
Застряли в чаще — не уйти...  
А кедр скрипел: «Младые братья,  
Не торопитесь вы расти.

Поменьше хвойного азарта,  
Помедленней разгон витков.  
Вот дорастете до стандарта —  
И доживете до пеньков!»

Так нам природа отвечает,  
Сникают птичьи голоса,  
И человек не замечает,  
Что медленней растут леса.

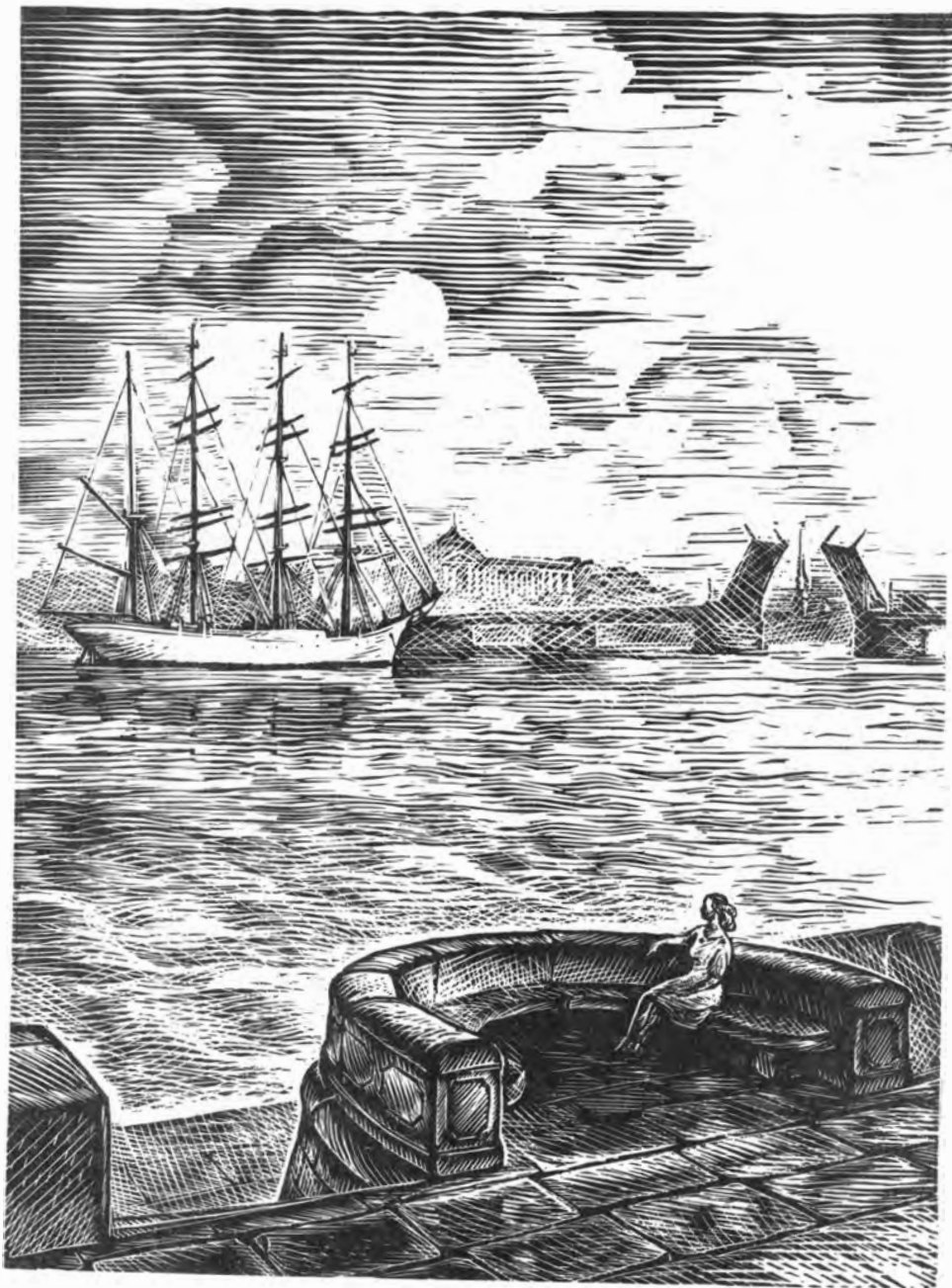
На век наш... Горькою ценою...  
Уймись, костер тяжелых дум.  
Лети весеннюю волною,  
Зеленый шум, зеленый шум!



На век наш хватит!.. Что ж печалюсь?  
Пылай, костер! — живем лишь раз.  
Когда-то мы лесов пугались,  
Пришла пора бояться нас.

Читают грады, пишут веси,  
И на бумагу жадный спрос.  
Нет, не из леса нынче вести,  
А в лес: здесь будет леспромхоз.

Р. Яхин.  
«Белые ночи», 1982 г., линогравюра.



**ОПАСНОСТЬ**

Дул ветер, надсадно ревя.  
Разладилось что-то в природе.  
И вот, поднимаясь, Нева  
Попятиться вздумала вроде.  
Как риф,  
    под водой парапет.  
Как бакен,  
    фонарь над водою.  
Его неуверенный свет  
Сражается с темнотою.  
Томительно нам сейчас  
В притихшем у берега доме.  
Но вдруг из приемника бас:  
— Нева возвращается к норме.—  
Вот так же в военном былом  
Спокойная слышалась нота,  
Когда объявлял он о том,  
Что в городе нет артналета.



★ ★ ★

Каждый знает —  
Дело не в названии  
Той или другой  
Чужой страны.  
Я ни разу  
Не бывал в Испании,  
Не касался  
Пыльной старины.

Озарен и движим  
Небылицами,  
Восседая  
На смешном коне,  
Дон Кихот  
Из всех бесчисленных рыцарей  
Самым верным  
Рисовался мне.

И не зря  
В какое-то мгновение,  
В самый ранний час  
Или во мгле,  
От него ко мне  
Пришло радение  
О счастливой жизни  
На земле.

За нее  
Дорогами неблизкими  
Я на крыльях  
Боевой мечты  
Плыл под небесами  
Астурийскими,  
Чтоб ни шагу  
С фронтовой черты!

У себя в России  
В годы грозные  
Я кричал во тьму:  
«Но пасаран!»  
Падали в снега  
И травы росные  
Парни, одуревшие  
От ран.

И, перекрывая  
Расстояния,  
Становилась  
Мысль моя ясней:  
Я ни разу  
Не бывал в Испании,  
А сдается, жизнь  
Оставил в ней!

★ ★ ★

Любой из нас —  
Во времени своем:  
И молодеет,  
И стареет в нем.  
И вместе с ним  
Уходит в те края,  
Где ни враги не встретят,  
Ни друзья,  
Где света не бывает  
Даже днем  
И холод ночи  
Покрывает тело.  
Но вечен ты,  
Коль прикипело дело  
К твоим рукам  
Во времени твоём.

★ ★ ★

Разбужены  
Опасностью войны,  
Мы, люди  
Без какой-либо вины,  
Друг друга  
Руки ищем  
И стеною  
Незримо поднимаемся,  
Верны  
Большой мечте,  
Под солнцем и луною  
Разбужены  
Опасностью войны.

## НА ВЗГОРЬЕ

На взгорье,  
Как в строю, деревья —  
Фронтовики  
Одной деревни.

Они домой  
Не заявили,  
Но в лютый час  
Отважно бились.

По именам  
Их величают,  
И свет и мглу  
Они встречают.

В листве весною —  
Молодые,  
А в снежной замети —  
Седые.

Над ними  
Ветры пролетают,  
Как на поверке,  
Окликают.

И держат  
Вечный строй деревья —  
Фронтовики  
Одной деревни.

**ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ МАТЕРИ**

— Ой, сорока-белобока,  
научи меня летать  
недалеко, невысоко,—  
напевала часто мать.

Чуть прикрыв глаза, смотрела  
сквозь морозное окно,  
незатейливо так пела...

Ах, как было все давно!

За окном пурга металась,  
за пургой плыла луна...

Мама редко улыбалась —  
больше плакала она.

Жизнь не ладилась у мамы,—  
не забыть мне лет крутых,—  
но была она упрямой  
и растила нас троих.

...Позади война и голод...  
Побелела голова...  
Счастлив я, что слышу голос,  
немудреные слова.  
— Ой, сорока-белобока,  
научи меня летать  
недалеко, невысоко,—  
напевает часто мать...

★ ★ ★

Полыню полдень так пропах,  
что даже свет горчит немного.  
И разогретая дорога  
петляет где-то в небесах.

Волнами ходит гулко рожь,  
и ястреб медленно кружится,  
своим полетом он гордится —  
полет и вправду так хорош!

Нетороплив, несуетлив,  
почти на видимом пределе,  
в округе птицы присмирели,  
собой птенцов в гнезде укрыв.

И в дымке марева поля,  
и горизонт размыт горячий,  
как будто край земли он прячет,  
расставив всюду тополя.

И солнце, высветив зенит,  
остановилось перед спуском...

И тишина в просторе русском  
струною времени звенит...



По-утреннему лес одет  
в небесный цвет, в озерный свет.

В воде и в небе — облака.  
Ни всплеска вслух. Ни ветерка.

Боюсь пошевелить веслом —  
не соберешь всего потом...

## ВОЛНЫ ЗЕМЛИ

Стремительно перерастают доли  
в холмы и к небу тянутся вдаль:  
для взора неподвижны эти волны  
спокойно зеленеющей земли.  
Но помогает мне воображенье  
увидеть и низин, и гор движенье,  
сводя века в мгновение одно:  
и катятся громады волн оттуда,  
из прошлого,  
где я не скоро буду,  
в грядущее,  
где нет меня давно.

## УРЕНГОЙ — УЖГОРОД

«Уренгой — Ужгород» —  
слышу по радио рано...  
«Уренгой — Ужгород» —  
вечером вижу с экрана.  
«Уренгой — Ужгород» —  
эти слова словно песня,  
«Уренгой — Ужгород» —  
трубы глядят в поднебесье!  
Уренгой, Ужгород  
новым богаты огнем,  
он и звенит,  
и гремит,  
и легенды слагают о нем...  
«Уренгой — Ужгород» —  
слава летит по земле!  
«Уренгой — Ужгород» —  
жить нашим братьям в тепле!  
«Уренгой — Ужгород» —  
доброе пламя живет,  
слава его  
и звенит, и гремит,  
и поет!

## ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНОШИ

Еще вчера, веселые ребята,  
вы прыгали совсем как оленята;  
как птички-невелички щебетали  
и даже дедам  
в силе уступали...  
Но вот теперь  
расти вы стали быстро,  
и сила-мощь  
блеснула, словно искра.  
Уже бородка начала пушиться,  
леском веселым, ранним серебриться...  
Вы в лес большой  
пойдете скоро, веря,  
что вы — как все, такие же мужчины,—  
лук натянув, вы двинетесь на зверя,  
и зорок будет  
взгляд ваш соколиный!

Пусть крепнут ваши ноги,  
ваши плечи,  
пусть шорохи лесов  
коснутся слуха,—  
высок да будет разум человеческий  
и сила человеческого духа!

## НАЗОВИ ПО ИМЕНИ

Вы спросите:  
— А кто такие манси? —  
Мы — манси,  
нас на свете очень много:  
ведь белка, утка, соболь или стерлядь —  
все это мы, мы скачем и летаем...  
Оленями, не знающими страха,  
несемса по крутым уральским склонам,  
которые, как манси, стародавни...  
Мы, словно гуси-лебеди, летаем,  
сны белой ночи пронося на крыльях;  
мы нельмами плывем и осетрами  
по той реке, что жизнью именуют...  
Кедр — тоже манси,  
он — колючий манси,  
смолистый манси... Зрелые орехи  
на крупных шишках — это очень вкусно!  
Вот он стоит — на нем резвится белка,  
мудреный след на нем рисует соболь...  
Шагая с лайкой, манси запеваает,  
себя считает он большой собакой,  
а голос подает он — это значит,  
что он тоскует по Большому лесу,  
где все давно друг друга понимают...  
Так думали отцы и предки наши,  
себя не отделяя от природы...  
Они искали с нею пониманья,  
оправдывая званье Человека.

## КАЛЕВАЛА

Калевала, Калевала...

Что такое — Калевала?

Молвят, гладь воды весною  
заискрилась, засияла,  
рыба прыгает, играя

плавниками-бахромою,  
и рыбак выводит песню, он прощается  
с зимою...

Колесом на небе солнце закрутилось,  
поглядите,  
и звенит, не замирает песня звонкая

в зените,  
и на всей планете люди, собираясь  
дружным кругом,

крепко за руки берутся, друг садятся  
перед другом —  
и уже струится песня, чье течение шире,

шире,  
прославляет мудрость жизни, говорит  
о светлом мире...

Только скажешь «Калевала» —

это слово радость будит,  
видишь, солнце засияло,  
и поют, токуют люди!

Закрутилось, завертелось —  
чтобы людям легче пелось!

## НА ВЕНГЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

I

Мадьяры, кто вы?

Вы — каменотесы?

Кругом камней причудливые груды,  
как дикий крик взмывающие косо...

Но вот уж на глазах родится чудо:

кузнечики стрекочут — молоточки,

стучат они и цокают повсюду,

и лишние отколоты кусочки,

и вот оно уже родится, чудо,—

восходит Будапешт каменноликий!

Чтоб этот камень ожил — вы творили,

чтоб он запел — трудились и искали...

Средь каменной блестящей этой пыли

свое вы вдохновенье высекали.

И покорился камень вам упрямый,

в глазах у вас и радость и надежда,

и город-конь

несется в вечность прямо...

В каменноликом взоре Будапешта,  
в садах, что вниз проходят по террасам,  
увидел я далеких предков душу,  
свободный их, наивный чистый разум...  
Я клятвы — помнить предков —

не нарушу!

И понял я — к чему уж тут вопросы? —

кто вы, мадьяры,—

вы — каменотесы!

II

Причудливые камни, валуны.

Блестит передо мной Дунай седой,

живой играет быстрою волной,

а небо тут такой голубизны!

Как грудь коня, встает при свете дня  
крутой утес...

Безоблачная высь.

Хочу я сесть на этого коня.

Я подхожу, твержу себе:

«Садись!»

Пред временем, пред ликом этих скал,

пред вечностью несущейся волны

я думаю: когда я увидел

впервые эти камни, валуны?

Тысячелетья, может быть, прошли

с тех пор, когда народом кочевым

сюда я шел, на дальний край земли,

и ел глаза

костров походных дым...

Мне кажется:

сiju я на коне,

я только опустил свое копьё,

смотрю, дунайской радуясь волне,

в глазах — сиянье вечное ее...

В ней предков наших дальних

пот и кровь —

и Венгрии сегодняшняя новь!

*Перевод с мансийского  
С. Ботвинника*

## БЫЛОЕ

Так что же такое былое?  
Былое — не склеп и не храм,  
Былое — строенье жилое,  
Где место найдется и нам.

Былое — дворец, возведенный  
Над бездной скорбей и утрат;  
В дворце том людей миллионы  
У солнечных окон стоят.

Там наши друзья фронтовые,  
Которых убила война;  
Там всем, кого помнят живые,  
Надолго жилплощадь дана.

И мы туда тоже прибудем,  
Родной не покинув земли,—  
Поскольку не боги, а люди  
Строение то возвели.

Никто не останется в нетях  
И не растворится в былом,  
Пока средь живущих на свете  
Хоть кто-нибудь помнит о нем.

## ГОСТИ

Все свои годы решил созвать я,  
Чтоб оценить их, окинуть взглядом,  
Чтобы они, как дружные братья,  
Все в моей памяти встали рядом.

Гости явились, галдят в прихожей,  
Гости меня затолкали в угол...  
Ну до чего же они несхожи,  
Многим из них не узнать друг друга!

...Глупые годы, умные годы,  
Годы-красавцы, годы-уроды,  
Годы-невзгоды, годы-счастливыцы,  
Годы-трудяги, годы-ленивцы...

Годы — в обносках, годы — в обновках,  
Годы — в шинелях, годы — в спецовках;  
В кепках приперлись годики-шкеты,  
Годы-хрычи снимают береты...

Год-весельчак зовет на танцы,  
Год-забудлыга требует водки;  
Годы-юнцы и годы-старцы  
Спорят вовсю, надрывая глотки...

Разные взгляды, разные лица,—  
Не столкнуться им, не сдружиться...

Рано созвал я вас, годы-братцы,—  
Старшего брата надо б дожидаться.

Вверю я вас ему, командиру,—  
Он вас построит всех по ранжиру,  
Всех приструнит, подведет итоги...  
Он — самый строгий — уже в дороге.

## ПЛАТОНИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Он заметил ее в весеннем саду  
На берегу крутом.  
— Кого ты ждешь?

— Не тебя я жду,  
А того, кто придет потом.

Ни о чем он больше ее не спросил.  
Он ушел, и забыв покой,  
Все просторы мира исколесил —  
Но не встретил второй такой.

До сих пор он помнит ее ответ,  
До сих пор он в нее влюблен.  
Одиноко живет он на склоне лет.  
И все круче, все круче склон.

И она — одна, до сих пор — одна,  
И не в радость ей отчий дом...  
В весеннем саду не знала она,  
Что никто не придет потом.

## САМОСУД

Нет, с Музою — не как с женой  
Или с подружкой шалой,  
С ней — будто со своей виной  
За час до трибунала.

И стоит ли кивать на рок,  
Вникать в чужие козни,—  
Без них приходит строгий срок  
Самооценки поздней.



Не пиши для всех —  
Не взойдет посев  
И напрасен твой будет труд.  
Для себя пиши,  
Для своей души —  
И тогда тебя все поймут.

## НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

Шестая линия любимая,  
Бульвар — свидетель юных дней...  
Задумчиво шагаю мимо я  
Витрин, деревьев и дверей.

Все — вроде бы обыкновенное,  
Но вечность замедляет ход,  
И клином сходится Вселенная  
У старых каменных ворот.

Обрадованно-опечаленный  
Стою у дома своего —  
Никем не жданный, не встречаемый  
И не забывший никого.

## В АРХИВЕ

О чем историк умолчал стыдливо,  
Минувшее не вычерпав до дна,—  
О том на полках старого архива,  
Помалкивая, помнят письмамена.

Бумажная безжалостная память,  
Не ведая ни страха, ни стыда,  
Немало тайн сумела заарканить  
В недавние и давние года.

Пером запечатленные навеки,  
Здесь тысячи событий и имен,  
Как бы в непотопляемом ковчеге,  
Плывут по морю бурному времен.

И, отмечая все хитросплетенья,  
История — бессмертная карга —  
Здесь, словно Ева в час грехопадения,  
Бесхитростно-бесстыдна и нага.



★ ★ ★

Наступило птичье лето.  
С предрассветных полян:  
«Тин-торетто, тин-торетто,  
Ти-ци-ан, ти-ци-ан!»

Кто там с веточки зеленой  
Переливом тугим,  
Круглоглазый, удивленный,  
Вопрошает: «Ту-вим?»

Видишь пестрое порханье —  
Оглянулся вослед  
И следишь, тая дыханье,  
Бабочкино: «Фет-фет-фет».

И опять — во славу света —  
С полудённых полян:  
«Тин-торетто, тин-торетто,  
Ти-ци-ан, ти-ци-ан!»

В этом дивном узнаванье  
Сходств,  
                                созвучий,  
                                примет —  
Связь родится без названья,  
Крепче которой нет.

## ПЕСНИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Кровью слова проверены,  
выношены в бою.  
Песни военного времени,  
вы до сих пор в строю.  
Радостные и грустные,  
гулкие, словно медь.  
Силу в себе почувствую,  
стоит только запеть.  
Тысячу раз расстреляны,  
но воскресали вновь  
песни военного времени —  
совесть моя, любовь.  
Нет, вы в запас не уволены,  
я присягаю вам,  
как ветеранам-воинам,  
знающим цену словам.  
Песни бытуют всякие,  
разный у песен век.  
Гаснут мгновенно шлягеры,  
вспыхнув как фейерверк.  
Но не для вас забвение —  
призваны жечь сердца.  
Песни военного времени,  
с вами я до конца!

## ГОРОД САТКА

Крутогоры, крутояры, берега.  
На поддонах громоздятся кирпичи.  
Редколесная, тишайшая тайга,  
рыжедымное полымя из печи.

Вот куда тебя, хороший, занесло.  
Вагонетки шелестят над головой.  
Возле огненной речушки за весло  
ухватился в рукавицах горновой.

Я над пропастью решетчатой иду,  
будто жизнь свою бросаю на весы.  
Домны радостно шипят на холоду,  
чуть колышутся манометров усы.

Я шагаю, то смеюсь, а то грустя,  
над пластмассовыми касками голов.  
А на площади, загривками блестя,  
кони снежные пускаются в галоп.

Перепрыгивают шлаковый отвал  
и в таежные просторы — до луны.  
Я доньше в этом граде не бывал.  
Я Урал с другой увидел стороны.

## НОРА ЯВОРСКАЯ



Под широким крылом Днепрогэса,  
над летящей днепровской волной,  
потеряв ощущение веса,  
я парила прошедшей весной.

Мне сигналы друзья подавали,  
звали в зал размещенья турбин...  
Я друзей понимала едва ли,  
я была с ним один на один —

с этим мощным крылом белоперым.  
Вспоминались мне кадры кино,  
вновь я видела мысленным взором,  
как изломано было оно,

как потом нелегко распрямлялось,  
опираясь на донный гранит...  
В ту весну мне хандрилось, казалось —  
мир души моей тихой разбит.

И покада друзья меня звали,  
мне почувствовать было дано,  
что и душу поднять из развалин  
можно — было бы прочное дно...

Слышу птиц из приневского леса,  
замечаю цветы и траву...  
Под широким крылом Днепрогэса...—  
так запомнила. С тем и живу.



Замыслив зло, сумеи остановиться,  
не утверждай своим поступком зла,  
чтоб не смогло к душе твоей привиться,  
не вырвало из рук твоих весла.

Покуда зло не в доме, на пороге,  
оно — проситель, а хозяин — ты,  
нопустишь в дом и обретешь в итоге  
зависимости мелкие черты.

Не умножай ряды духовно слабых  
и к злу на побегушки не спеши.  
Со злом не сладишь в мировых  
масштабах?  
Так сладь в масштабе собственной души.



Как тоскует, как хлопочет,  
в сердце муку затая,  
ах, как замуж выйти хочет  
эта женщина твоя.

Чтоб свой дом, своя ограда,  
свой негаснувший очаг,  
чтобы стало все, как надо,  
А пока что — все не так,

все не может больше года  
подобрать к тебе ключи.  
«Что тебе твоя свобода?!» —  
шепчет горестно в ночи.

За окошком непогода,  
задувает из щелей...  
«Что т е б е моя свобода?» —  
отвечаешь тихо ей.

Звезды стертые с небосвода.  
Темень... С далью слита близь...  
За твоей спиной — свобода.  
За ее спиною — жизнь.

ЭСТОНСКАЯ ОСЕНЬ

Эстонской осени размывы и разводы,  
ручьи, болота — мокрый пир природы.  
С холма на холм, нахохлившись, как  
птица,

перелетает облако, садится,  
и дом с пустым обветренным крыльцом  
под крыльями его лежит птенцом.

Вот птица запоздалая лепечет.  
Как гласный, сдвоенный в эстонской  
речи,

она и тень ее летят. Бормочет  
вода в канаве. Но просвет короче —  
тень исчезает, замолкает речь.  
Туман ползет с холма, как руки с плеч.

Трещит сучок. Стекает под ногою  
осклизлый склон с тропинкою грибною.  
Стоит, приткнувшись к дереву, шалаш.  
И гриб, когда ногой его поддашь,  
внезапно обретает плоть — иную,  
чем та, когда собьешь листву гнилую.

Все надвое разделено вокруг:  
на тлен и жизнь, на немоту и звук,  
на память и предчувствие, на чудо  
и на привычку. И ползет покуда  
последний луч по крышам, постепенно  
скрывается под изморозью сено.

Мерцают звезды. Тень ползет по ним.  
Тогда-то мы в себе и ошутим,  
как входит в каждый взгляд и в каждый  
шаг

любовь к земле, таящей столько благ,  
так — что из дома тянет на крыльцо  
подставить звездам руки и лицо.

★ ★ ★

Мой друг вступает в законный брак —  
а я гляжу в заочный мрак.  
И это сходство далеких слов  
меня смущает, как тайна снов.

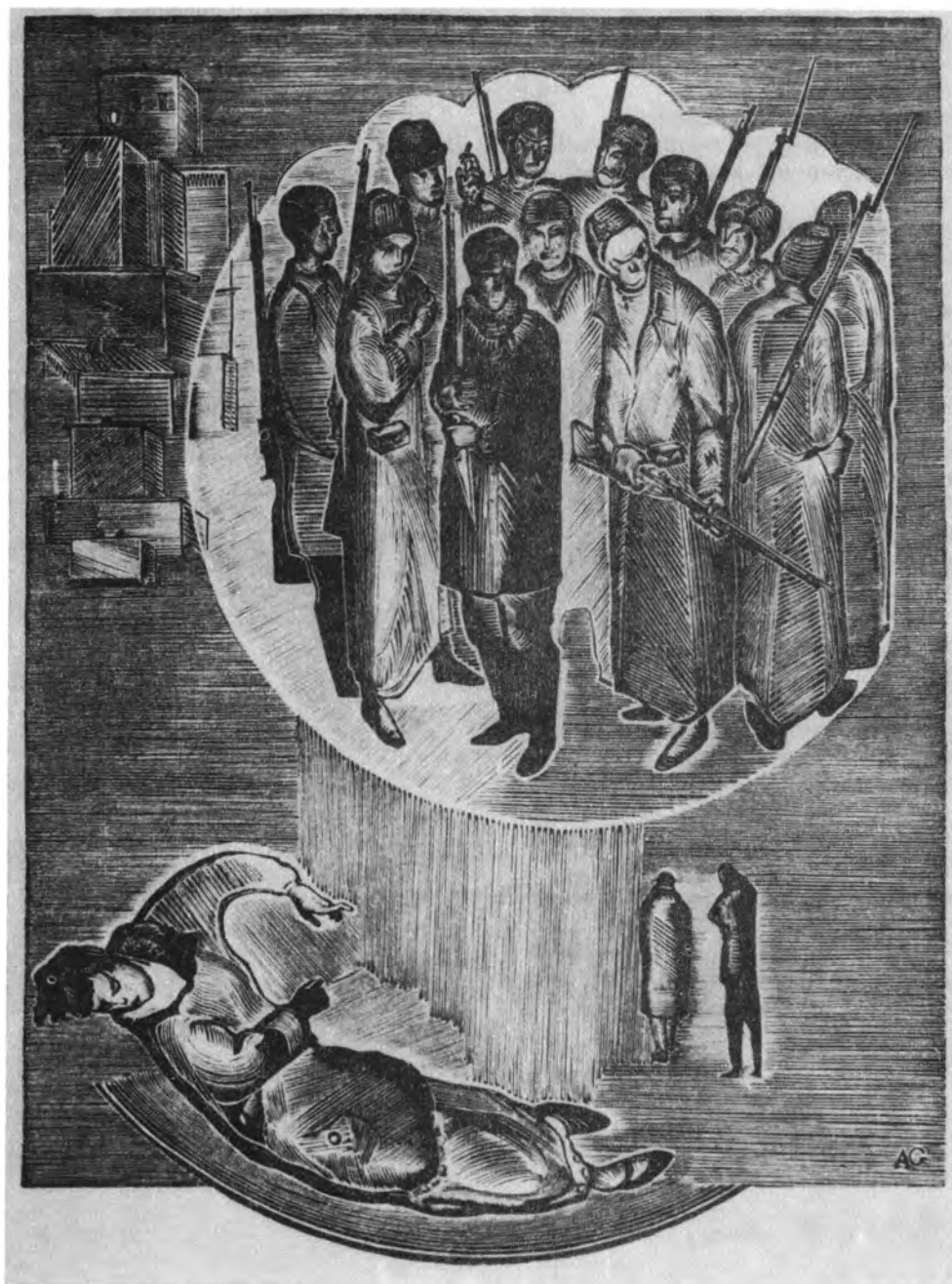
Блуждают звуки, меня маня,  
у них повсюду своя родня,—  
и если щука сожрет леща,  
то это выйдет посредством «ща».

Всего лишь легким движеньем губ  
навек разделишь дупло и дуб,  
к столу поближе придвинешь стул,  
чтоб ветер звуков его не сдул.

Прохвачен ветром весь белый свет —  
так сколько ж надобно бед и лет,  
чтобы свирель

отдала мне «эль»  
и чтобы, сед,  
я оставил след?

А. Гончаров.  
Фронтиспис к поэме А. Блока «Двенадцать», 1924 г.



ДЕНЬ  
ПОЭЗИИ 19 **87**

**СВЕТ  
ПАМЯТИ**

## ВЕЧНО ЮНЫЙ

Ниже публикуются выдержки из очерка Ольги Федоровны Берггольц, посвященного городу победившего Октября, городу Ленина.

Очерк был опубликован в специальном номере «Литературной газеты» от 22 июня 1957 года, приуроченном ко дню награждения Ленинграда орденом Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной, за мужество и героизм, проявленные его гражданами в дни Октябрьской социалистической революции и в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, за успехи, достигнутые в развитии промышленности и культуры, в развитии и освоении новой техники, в связи с 250-летием города Ленинграда.

В «Сочинениях» в двух томах О. Берггольц (М., 1959) очерк этот напечатан в другом варианте.

...История-судьба Ленинграда неповторима, в особенности потому, что этим городом и в этом городе несколько раз решалась судьба всей нашей Родины.

Рождение града святого Петра, Санкт-Петербурга, знаменовало собой рождение новой эпохи в истории России.

Здесь, в Петрограде, точнее — в красном Питере, судьба России изменилась еще раз — здесь питерский пролетариат низвергнул самодержавие и, ведомый Лениным и ленинской партией большевиков, совершил Октябрьскую революцию и установил власть самих трудящихся — власть Советов. Мы — Ленинград — называемся колыбелью Революции. Колыбелью Социалистической Революции. На постаменте памятника Ленину у Финляндского вокзала нанесены исторические слова из речи Ильича к питерцам, балтийцам и солдатам: «...и да здравствует социалистическая революция во всем мире!»

А во время блокады мы отмечали двухсотсорокалетие нашего города и, так как враг был буквально у стен Ленинграда, к тому, что я уже сказала выше, мы добавляли: «И вновь судьба всей России в эти дни во многом зависит от нашего города... и по сей день он является узловым пунктом обороны всей нашей страны».

...Всё в Ленинграде — наша жизнь, включая ленинградские памятники. Говорят, памятники обращены к прошлому. Часто Ленинград называют «городом-памятником» или «музеем под открытым небом». Некоторые из сверстников моих усматривают в этом нечто вроде как обижающее Ленинград. Нет! Памятник всегда обращен к будущему — к тем поколениям, которые придут. Чем смелее и откровеннее памятник, тем больше сегодняшней человеческой души вобрал он в себя, тем больше обращен он к будущему, тем правдивее и бесстрашнее может он говорить с ним. И тем стремительней движется он к будущему. Так, Ленин на броневике, великий человек, чье имя носит наш город, чье изображение мы видим на лицевой стороне медали «В память 250-летия Ленинграда», — это памятник, вечно движущийся, обращенный к потомкам. И юность, умиротворяющая стихию разъяренных коней на Аничковом мосту, — тоже, и Медный Всадник, — он тоже для будущего, в немыслимой простоте своей, с голой ногой, висящей вдоль конского бока.

И висит нога его босая...  
Холодно, наверное, босой.

*Борис Корнилов*

Так что же выбирать мне, по какому же месту, по какой окраине, по какой анфиладе пройти, чтоб написать о днях юбилея?

Невская застава? Арка Деламота — Новая Голландия?

Университет? До чего ни дотронься — все твоя жизнь, рядового ленинградца, и, кем бы ты ни был, ты прежде всего гражданин города Ленина, — все дорого, все неразделимо с давним днем, прошлого и с завтрашним, и с далеким будущим.

Вот Невская застава — страна детства...

Здесь я помню еще Петроград, и как горел участок, и как на амбарах — целая улица из амбаров — было написано узкими белыми буквами: «Ум не терпит неволи». — «Нетрудящийся да не ест». — «Охраняйте революцию». — «Кто не с нами — тот против нас»...

Вот Васильевский остров, университет. Это юность. Это первая пятилетка. Это пронизанный прямыми лучами солнца, стоящими на тончайшей книжной пыли, университетский коридор, и первая настоящая любовь, и Маяковский, и ожесточенная работа на субботниках, в порту, на погрузке баланса. Баланс — это не бухгалтерия, были просто такие аккуратные белые бревнышки. Ужасно их много было — целые кварталы. Мы, студенты, таскали их на плечах без отказа, уж давно не вспомнить, по сколько часов. Но это нужно было для создания фундамента социализма! В чем мы могли отказать ему, в чем могли бы усомниться хоть на мгновение? Одновременно с погрузкой баланса, с учебой мы еще ликвидировали безграмотность и готовили «рабочую тысячу» в университет. В группе молодых рабочих, готовящихся в университет, у меня в общем все шло благополучно, но мой неграмотный был нерусский, он упорно не мог выговаривать, а значит, и писать букву «ф». Позор!

А Кировский завод — он тогда был «Красным путиловцем», — где я проходила первую практику в механосборочном цехе? Это было в 1930 году, в «Особом квартале», когда «Красный путиловец» только что приступил к серийному выпуску советских тракторов «Фордзон-Путиловец».

Все это были ночи большевистской весны, белые ночи Ленинграда!

О, Ленинград, Ленинград, посылавший в эти ночи на поля страны первые свои тракторы и первых своих двадцатипяти тысячников, Ленинград первой пятилетки, той пятилетки, когда каждый из нас как можно чаще старался произнести слова «тяжелая индустрия», каким светом остался ты в сердце!

А потом в жизнь мою вошла Московская застава — завод «Электросила», готовивший первые в СССР сверхмощные генераторы для Днепрогэса, для Свири, электропривод для первого блюминга, электромоторы для Донбасса. Я в это время работала там редактором комсомольской страницы заводской многотиражки, агитатором и пропагандистом, историком завода... Вы думаете, что я похваляюсь жизнью моей?! Конечно, да! А что бы я была за ленинградка, если б не хвалилась единой жизнью с городом? Мы все этим гордимся.

...Нет, я когда-нибудь напишу об этом — о Ленинграде как источнике света и энергии, ведь простое перечисление почти ничего не значит, — это живые человеческие жизни, живые судьбы вложены в каждый виток обмотки ротора для Братской или Сталинградской станции...

...«От сердца к сердцу» — этот закон действителен не только для искусства, но и для всего человеческого деяния. От сердца к сердцу — так жил и живет Ленинград, особенно после великой даты, после Октября...

...Посмотрите на Ленинград — «музей под открытым небом» — на колыбель Революции, на город-герой. Смотрите на него и внимайте ему с открытым, с чистым сердцем, с таким, как у него. Он ничего не утаил от мира. Все его радости, страдания, победы — у всех вас на виду. Он рад поделиться с людьми всем материальным и духовным богатством, которое завоевал такой великой кровью, таким трудом и такой честностью.

Ведь я ничего еще не сказала о героических днях блокады, о днях, за которые Родина удостоила Ленинград редким званием города-героя. Это у всех у нас, ленинградских писателей, такое чувство: мы много писали о блокадном Ленинграде, мы, по правде говоря, много хорошего написали, а вот чего-то главного пока все еще так и не сказали. Почему? Предоставим историкам литературы разбираться в этом. А мы сами



скажем об этом главном непременно. Это ведь тоже луч в будущее. У Ленинграда, города-героя, города-человека, города-коммуниста, прошлое, настоящее и будущее слиты и все обращено к будущему. Каким он будет, Ленинград будущего, спрашивают меня. И я хочу ответить: прежде всего таким, как теперь, — с его историей, с его природой, с его характером, с его сыновней преданностью Родине. Он есть и будет прежде всего — колыбелью Революции, а это и есть будущее.

Я часто бываю за Невской заставой, в стране детства, хотя уже и не живу там. Я была там недавно, — как она изменилась, как много новых домов, там, где были болотца и плавали гуси, какие новые высокие строения возникли там, где был отчий дом, разбитый снарядом... А потом был просто пустырь, а сейчас восходят новые дома...

Все сызнава — и все на пустыре,  
и все на той же розовой заре,  
на зябнувшей, огромной и дрожащей:  
и эти угловатые дома,  
и взлеты вдохновенья и ума,  
и рощ нагих младенческие чаши...

И радостно и почему-то чуть-чуть где-то в глубине грустно от этих изменений. Почему? Потому что у меня, человека, жизнь уже сокращается, а он, город, наоборот, идет к вечной юности, к расцвету! Вот так подумалось. Но тут же возникла другая мысль: да, но все мои радости, все горести, все боли, весь труд — ведь это же все останется в нем, как остались жизнь и труд предыдущих поколений и отдельных людей, и их сердца. Значит, ничто не исчезнет. Значит, пока стоит Ленинград, вечно будут живы те, кто его любил, кто был ему предан, кто вложил сюда жизнь и веру...

## ЛАРИСА РЕЙСНЕР

(1895—1926)

В стихотворении Бориса Пастернака «Памяти Ларисы Рейснер» есть и такие строки:

Лариса, вот когда посожалею,  
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.  
Я б разузнал, чем держится без клею  
Живая повесть на обрывках дней...

Почти полвека назад известный исследователь творчества Ларисы Михайловны Рейснер Екатерина Боронина писала: «В двух томах, изданных Госиздатом в 1928 году, собрано далеко не все литературное наследство Ларисы Рейснер. Сюда вошли только ее большие вещи, вернее большие циклы очерков: «Фронт», «Афганистан», «Гамбург на баррикадах», «В стране Гинденбурга», «Уголь, железо и живые люди», «Декабристы». Очень много мелких газетных очерков, фельетонов совсем не вошли в собрание сочинений. Не вошли и ранние вещи Л. Рейснер: драма «Атлантида», стихи и статьи из журнала «Летопись» и др. журналов. Собрать все это, привести в порядок — дело ближайшего будущего».

На сегодняшний день проза Л. Рейснер хорошо изучена и исследована. Этого нельзя сказать в отношении ее поэтического творчества. Тем более что многие стихи Ларисы Рейснер неизвестны до сих пор не только широкому кругу читателей, но и исследователям ее творческих путей и методов.

Не так давно мне посчастливилось разыскать два неизвестных стихотворения Ларисы Рейснер, которые впервые были опубликованы в журнале политического отдела Волжско-каспийской военной флотилии «Военмор» в 1919 году.

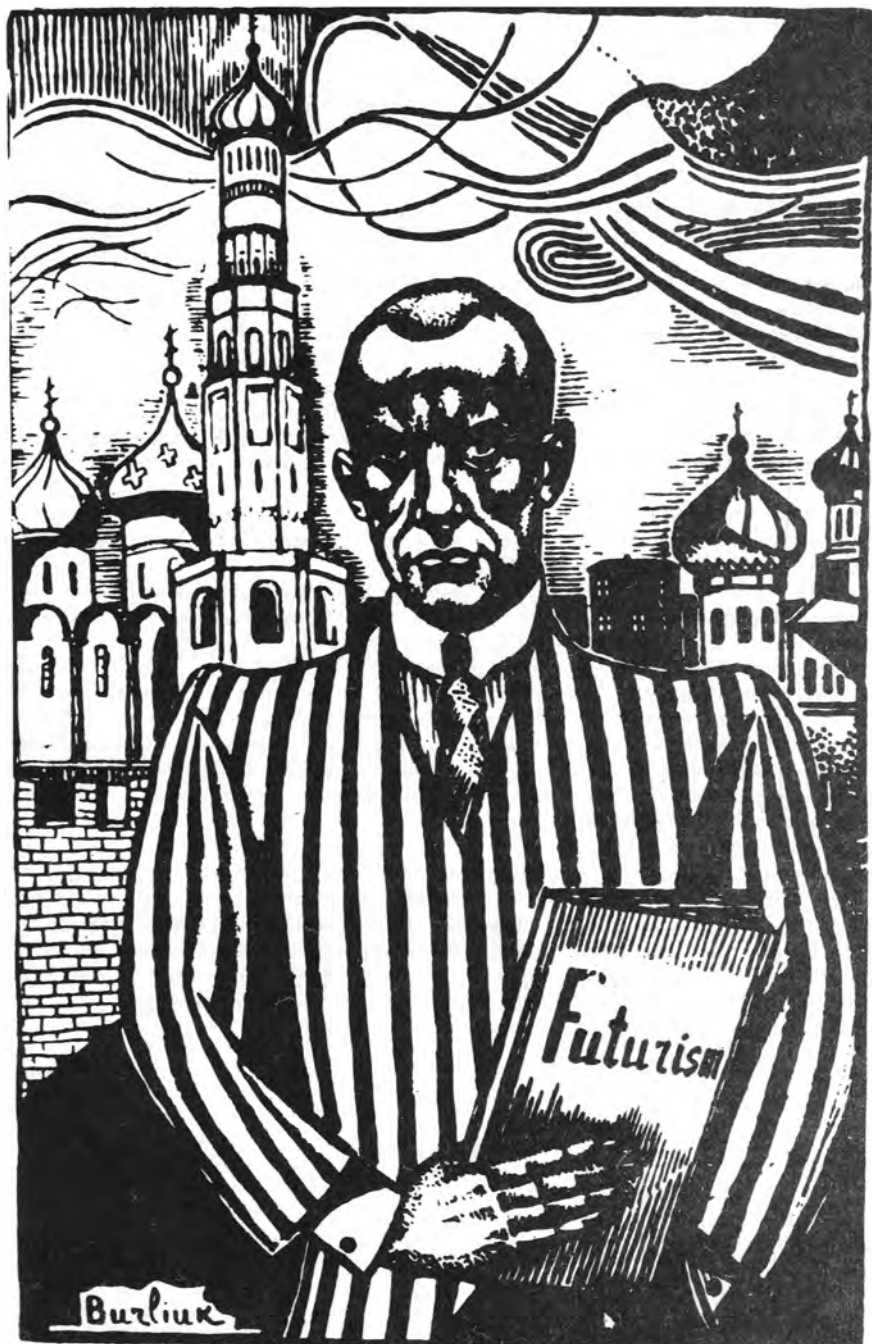
Летом 1918 года главным для защиты Советской Республики стал Восточный фронт. Приказом по 5-й армии Лариса Михайловна была назначена комиссаром разведотдела при штабе. В короткие минуты и часы передышек после жарких схваток на суше и на море она находила силы для творческой работы. Начиная с 1918 года ее очерки «Казань», «Казань—Сарапул», «Маркин», «Астрахань», «Лето 1919 года», «Астрахань—Баку», «Баку—Энзели» и многие другие появляются в «Известиях» под названием «Письма с фронта». Отдельные заметки и статьи Л. Рейснер публиковались в «Военморе». При внимательном изучении этого уникального издания, полный комплект которого сохранился лишь в Центральной военно-морской библиотеке в Ленинграде, я и обнаружил два неизвестных стихотворения Ларисы Рейснер — «На гибель военного корабля „Вани-коммуниста“» и «На Запад».

Первый номер «Военмора» вышел в день второй годовщины Великого Октября в Астрахани. А уже во втором номере рядом со стихотворением Н. Гумилева «Капитаны» появилось стихотворение Л. Рейснер «Памяти военного корабля „Вани-коммуниста“». Сражаясь в рядах Волжской военной флотилии плечом к плечу с Н. Маркиным, Вс. Вишневским, она хорошо знала их. И, видимо, после гибели Маркина не смогла не откликнуться на эту большую потерю.

Второе стихотворение Л. Рейснер посвятила своему мужу. Оно было опубликовано в журнале в день, когда Л. Рейснер и он убывали к новому месту службы — на Западный фронт, где вовсю грохотала канонада гражданской войны.

*В. Кондрьяненко*

Д. Бурлюк. В Маяковский, 1925 г., гравюра.



НА ГИБЕЛЬ  
ВОЕННОГО КОРАБЛЯ  
«ВАНИ-КОММУНИСТА»

О, эти странные недомоганья,  
Изнеможение и жар!  
Душа, исполненная замиранья,  
Дрожит и стелется, как зимний пар.

Приходит сон — и, рассекая ночи  
И обгоняя будущие дни,  
Припоминает и пророчит,  
И вижу: пар встает от полыни.

Широкий бег река остановила,  
И там, где лес взобрался на обрыв,  
Лежит корабль, разбитое кормило,  
Как голову, на берег приклонив.

На палубе — растворенные люки,  
Вдоль мачты зыблется стальная нить...  
Так от лица беспомощные руки  
Стараются удары отклонить.

Но вместо длительно-прерывистого  
свиста,  
Команду созывавшего на бой,  
Приходит буря на борт «Коммуниста»  
Играть его поломанной трубой.

Давно ушли на полдень миноносцы,  
Как лебеди, они ушли на юг.  
За вами, павшие, за вами, крестоносцы \*,  
Придет лишь рать железнокрылых вьюг.

Наверх, наверх, неудержимый Маркин!  
Срывайте лед с кровотокающих ран!  
Потоком медленным, густым и жарким  
В безудержный вольется океан  
Бунтующая кровь из ваших ран.

НА ЗАПАД!

*Посв. Ф. Р*

На Запад! На Запад! — мятежные  
струны,  
Будите, будите отважных борцов!  
Великие дети всемирной коммуны,  
В кровавую битву вперед на врагов!

Стальные красавцы, герои сражений,—  
Мятежная сила мозолистых рук,—  
Вновь грозно воспряньте в годину  
волнений  
Для гибели прошлых насилий и мук.

Не раз вы из мрака судьбин восставали  
И кровь проливали с оружием в руках,—  
Вы грозные тучи не раз рассевали,  
Борцы, закаленные в красных боях!

Так взвейтесь же, соколы, вольной  
семьей  
Под гимны рабочих мятежных молитв  
И новую тучу пронзите стрелой,  
Застрельщики красных сияющих битв.

На Запад! На Запад! — В годину  
волнений,  
Мятежные струны, будите борцов!  
Стальные красавцы, герои сражений,  
В бесстрашную битву вперед на врагов!

\* Соединение мачты с реей над ходовым мостиком миноносца напоминает крест, поэтому автор и назвала миноносец крестоносцем.

## ТАК ОНИ НАЧИНАЛИ

Павел Лукницкий жил «удесятеренной жизнью».

Он был человеком повышенного темперамента и острого восприятия жизни, и выражалось это не только в том, как он жил, но и в том, что записывал систематически изо дня в день все, что происходило с ним и вокруг него, и оставил в наследие богатейший материал для читателей, писателей, историков, географов, литературоведов.

Он вошел в советскую действительность в красноармейской форме, своей жизнью и своим творчеством подтвердив, что он с теми, «кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден».

Он был летописцем своих дней и одновременно — борцом, воином, путешественником, исследователем, писателем и поэтом...

Александр Блок говорил, что романтизм есть жадное стремление жить удесятеренной жизнью. Это условное обозначение как бы шестого чувства в его чистом виде... Это то, чем владел писатель Павел Лукницкий.

Но как рассказать о летописце, который родился на рубеже веков и жизнь которого прошла через яркие сломы нашей истории, связанные и с Октябрьской революцией, и с последующим нелегким периодом, и с Отечественной войной, и с послевоенным временем? Как рассказать о нем, используя лишь долю процента его архива, в котором не менее 10 тысяч писем, более 90 тысяч страниц дневников и около 100 тысяч фотокадров?

Он носитель советской культуры, он носитель культуры русской. Это шло от предков. Было время, когда Пролеткульт предлагал отречься от всего старого. Лукницкий не отрекся. Он по-ленински изучал и впитывал русскую культуру.

Собирая и храня документы литераторов и о литераторах 20-х годов, он сохранял основы эстетики и нравственности личной. Уже тогда интуиция говорила ему, что они станут историей советской литературы.

По тропам дикого Памира, по Сибири, по дорогам Великой Отечественной нес Павел Лукницкий неугасающий факел человеческой культуры, эстафетный факел, чтобы передать его людям. Часто в дневниках и даже в семейных письмах он откровенно излагает свои размышления, не боясь выглядеть в них порою негероически, записывает в надежде, что, по семейным традициям, и дневники и письма будут тщательно храниться и, придет время, эстафета будет подхвачена...

В памирской гряде гор, которые он исследовал, он открыл несколько пиков. Самый высокий из них он назвал пиком Поэта. Пиком Маяковского. Для него это был самый большой поэт, поэт жизни, символ Революции, глашатай нового времени. В 1932 году так думали еще не все. А он уже давно так думал, потому боролся за это наименование вершины стойко, смело и упорно. И победил. Пик первого Поэта... Для того времени это было неожиданно. Сейчас не только географы и альпинисты знают этот пик. Он нанесен на все географические карты мира.

Но вряд ли знают люди, что в том же 1932 году кроме пика Маяковского появились еще названия, данные тогда Лукницким открытым им и нанесенным на карту вершинам. Массив Шатер, и в нем — Пик Ак-мо.

Ак-мо — это «Акумиана» Лукницкого, Ахматова; «Шатер» — это название сборника стихотворений Н. Гумилева.

Пики эти не такие высокие по сравнению с другими памирскими исполинами. Но для сознания, для личности человека, открывателя, патриота характерно, что в момент чрезвычайной исследовательской работы, в трудный период внутренней борьбы с са-

мим собой, он не забыл, он размышлял, он ценил все хорошее, полезное, что дала ему среда, находясь в которой и противостоя которой он формировал себя как личность.

В 1924 году он стал членом Всероссийского союза поэтов, Ленинградского отдела согласно приводимому документу:

«Рецензия приемной комиссии  
Всероссийского союза поэтов от  
17 декабря 1924 г.

Считаю, что с момента подачи первых стихов изменения в сторону улучшения настолько очевидны, что Лукницкого необходимо принять.

*Е. Полонская*  
Присоединяюсь к этому — *Н. Тихонов*».

«Лукницкий обнаруживает большую и часто самоотверженную любовь к поэзии. Стихи его вполне грамотны и формально дают право на принятие в Союз. Лукницкий способен расти.

*Вс. Рождественский*».

Вот такие строгие правила приема в Ленинградский отдел Всероссийского союза поэтов существовали тогда, хотя поэтических союзов и объединений в то время было много — чуть ли не в каждом крупном городе России.

В течение всего существования Ленинградского отдела Союза поэтов в члены его принимали на основании написанных на листках, иногда из школьных тетрадок, стихов, но тем не менее следили за периодическими публикациями, за идейным и творческим ростом поэта, за его общественной работой.

За несколько дней до заседания приемной комиссии желающий вступить в Союз приносил заявление, анкету и несколько стихотворений, чаще всего написанных от руки. На обратной стороне заявления автора или на обратной стороне авторских стихов, написанных на отдельном, а иногда на общем с заявлением листке, порою даже на клочке бумаги, члены приемной комиссии делали свои выводы.

Вот несколько документов, хранящихся в домашнем архиве.

«Методы...» и «Порядок работы...» написаны членом приемной комиссии Вс. Рождественским, несколько примеров из сотни рецензий, или, как называет их приемная комиссия Союза поэтов, «мотивированных мнений», подписаны ее членами, как правило — не менее чем тремя. Практически приемная комиссия была правомочной и, за редким исключением, не выходила на правление Союза поэтов. Тем паче что члены ее были членами правления.

### **«Методы работы приемочной комиссии Ленинградского отдела Всероссийского союза поэтов»**

Приемочная комиссия рассматривает предоставляемый в Союз поэтов материал, руководствуясь следующими принципами:

Так как Союз поэтов является организацией, занимающей по отношению к формальным группировкам нейтральное положение и преследующей главным образом цели профессионального объединения, приемочная комиссия прежде всего предъявляет к представляемому материалу требования определенной технической грамотности, вне зависимости от того, к какому направлению в литературе автор себя причисляет. Минимум этой грамотности складывается из:

- а) знания элементарной грамматики современного поэтического языка;
- б) знакомства с основными задачами современной поэзии;
- в) способности к самостоятельному поэтическому пути.

Вместе с тем комиссия считает одним из главнейших условий приема живую связь автора с вопросами революционной современности.

Лица, удовлетворяющие всем трем пунктам условий приема, зачисляются в действительные члены Л/О Всероссийского союза поэтов.

Лица, удовлетворяющие только двум пунктам, хотя бы и не в полной мере, зачисляются в члены-соперники Л/О Всер. союза поэтов. Лица, имеющие определенное литературное имя, представляющие печатные труды и доказавшие, что литература является их профессиональным занятием, принимаются простым решением общего собрания комиссии».

### «Порядок работы Комиссии

1) Рукописи представляются техн. секретарю Союза, который ведет регистрацию поступающего материала.

2) Рукописи рассматриваются индивидуально членами приемочной комиссии, которые на отдельном листе пишут свое мотивированное мнение.

3) Общее заседание комиссии для сводки отзывов и разрешения могущих возникнуть разногласий собирается не реже одного раза в месяц.

4) Рукописи обратно авторам не выдаются, а вместе со сводками комиссии поступают в архив Союза.

Приемочная комиссия Ленинградского отдела Всероссийского союза поэтов доводит до сведения всех лиц, желающих вступить в число членов Союза, что им надлежит представлять материал в количестве не менее 10 оригинальных стихотворений, а также печатные труды (если таковые имеются) на имя секретаря правления или его помощника».

«В Правление Союза поэтов  
Алексея Толстого

### З а я в л е н и е

Прошу о зачислении меня в члены Всероссийского союза поэтов. Книжки

- 1) 1-я книга стихов, 1907 г.
- 2) За синими реками.
- 3) Детская книжка в стихах, 1924 г.

*Алексей Толстой».*

«В число членов Л/О ВСП принят. Протокол № 20 Правления от 7.VI.25 г.».

«В Правление Ленинградского  
отделения Всероссийского  
союза поэтов

Прошу принять меня в число членов Союза.

*О. Э. Мандельштам  
24 янв. 1927 г.».*

В верхнем левом углу заявления помечено: «Принят в действит. члены. Засед. Правления 28.I.1927. П. Лукницкий».

«В Союз поэтов  
Заболоцкого Николая Алексеевича

З а я в л е н и е

Прошу принять меня в число членов Союза. Стихи прилагаю.

*Н. Заболоцкий*

Адрес: ул. Кр. Зорь, д. 73/75  
Мансард, комн. 5».

(Приложена анкета, пять листов рукописных стихов и резолюция К. Вагинова и В. Эрлиха на обороте.)

По заявлению Николая Брауна.

«Н. Браун еще не знает точно пределов своего голоса. Он весь увлечен его порывом. Но в этом порыве он честен до конца. Отношение к слову взыскательное, несомненный вкус, яркая динамика строфы. Все это дает право принять его в Союз поэтов.

*В. Рождественский.*

Брауна, конечно, следует принять в Союз. Он еще не овладел собственным стихом, а когда овладеет, будет настоящим поэтом. *Е. Полонская.*

Принять. *Н. Тихонов*  
Принять. *А. Крайский».*

В архиве хранится два десятка подобных подлинных документов более раннего периода.

На четверти листа писчей бумаги рукой Н. Тихонова написано:

«23 сентября 1920 г.

Секретарю Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов

З а я в л е н и е

Желая вступить в члены Всероссийского союза поэтов, посылаю Вам, согласно правилам Союза, 15 своих стихотворений.

*Николай Семенович*  
*Тихонов*

Адрес: Петроград, Гороховая, 11, кв. 20».

На обратной стороне листка рукой Н. Гумилева черными чернилами, по правилам новой орфографии:

«По-моему, Тихонов готовый поэт с острым виденьем и глубоким дыханьем. Некоторая растянутость его стихов и нечистые рифмы меня не пугают. Определенно высказываюсь за принятие его действительным членом Союза.

*Н. Гумилев».*

Ниже, рукой М. Л. Лозинского:

«В стихах Тихонова есть недостатки более глубокие, чем отмечены Н. С. Гумилевым, но и они не мешают признать Тихонова — поэтом. Полагаю тоже, что он может быть принят в действительные члены Союза.

*М. Лозинский».*



## ОТ РЕДАКЦИИ

Павел Николаевич Лукницкий, известный советский писатель, родился в Петербурге 12 октября 1900 года. Автор многих романов, повестей и рассказов, а также изданных в трех томах фронтовых дневников «Ленинград действует» (1941—1945), П. Н. Лукницкий начинал как поэт. Книги его стихов «Волга» (1923—1926), «Переход» (1927—1930) были изданы в 1927 и 1931 годах.

П. Н. Лукницкий собрал исключительный по своему значению литературный архив, несколько документов которого публикуются выше.

Это было время становления молодой советской литературы, когда имена никому не известных участников Октября, гражданской войны в короткий срок становились, благодаря их творчеству, знакомыми многим. Теперь имена ряда поэтов и прозаиков, таких, как А. Н. Толстой, Н. С. Тихонов, Н. А. Заболоцкий, В. А. Рождественский и другие, вошли в классику советской литературы.

Союз поэтов был одной из литературных ассоциаций, основанных в первые годы Советской власти в революционном Петрограде.

Отрывок из рукописи книги В. К. Лукницкой, жены писателя, о летописце «Перед Тобой, Земля», находящейся в производстве издательства, дает нам возможность соприкоснуться с этим замечательным временем.

## ДУШИ ВЫСОКАЯ СВОБОДА

Думая об Анне Андреевне Ахматовой, я вспоминаю стихи Саффо:

Конница одним, а другим пехота,  
Стройных кораблей вереница — третьим.  
А по мне на черной земле всех краше  
Только любимый.

Эти стихи, как нечто живое, стояли рядом со мной у гроба удивительной по своему таланту и характеру русской женщины, с которой мир простался навсегда. Я смотрел на ее высокий, гордый лоб, на неподвижные ресницы, на классический нос с горбинкой, на плотно сжатые, с чуть затаенной улыбкой губы и говорил тогда о том, что она, Анна Андреевна Ахматова, уже становится достоянием не только русской, но и мировой культуры, что, уходя из этого мира, она оставляет ему свою поэтическую душу, свои пронзительные слова о прекрасном таинстве любви, о красоте женственности, ее трагедиях и преодолении этих трагедий и что эти слова сама жизнь поставила в бессмертной библиотеке своего самопознания рядом со словами Саффо.

Сейчас, спустя двадцать лет, я смотрю туда, на скорбное прощание с Ахматовой, уже из другого времени, с точки зрения нового опыта трагедий и разочарований, углубивших любовь к жизни, просветливших ее великую необходимость. Я гляжу сквозь двадцать лет в тот сырой мартовский день прощания и читаю стихи Анны Андреевны:

Сказал, что у меня соперниц нет.  
Я для него не женщина земная,  
А солнца зимнего утешный свет  
И песня дикая родного края.  
Когда умру, не станет он грустить,  
Не крикнет, обезумевши: «Воскресни!» —  
Но вдруг поймет, что невозможно жить  
Без солнца телу и душе без песни.  
...А что теперь?

Я произношу эти стихи, и они сливаются с теми строками Саффо, которые я чувствовал рядом с собой, как нечто живое, у гроба Ахматовой.

Их уже не разделить, Ахматову и Саффо. Они в одном ряду. Им вместе надлежит сочувствовать человеку и просветлять его, делать его духовный мир осмысленным и прекрасным, существенным и значительным. Они обе от одного Солнца.

В самой Анне Андреевне все было значительно — и внешний облик, и духовный мир.

Как-то мне довелось вместе с ней ехать из Ленинграда в Москву в одном купе «Красной стрелы». Мы были знакомы раньше, но особенно близко судьба нас не стлкнувала. Не помню, о чем мы говорили тогда, но в памяти сохранилась одна фраза, сказанная Анной Андреевной: «Мы, поэты, — люди голые, у нас все видно, поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы мы выглядели пристойно».

Я знал, что в ее жизни было много сложного, тяжелого. Знал из рассказов моих старших товарищей-литераторов, знал и по тем событиям, которые происходили у меня на глазах. Но никогда, ни в одной из ее книг я не находил отчаяния и растерянности. Никогда не видел ее с поникшей головой. Она всегда была прямой и строгой, была человеком воистину незаметного великого мужества. Этому существенному качеству можно и нужно учиться у ее обнаженно-правдивых книг.

Души высокая свобода, которой она обладала, давала ей возможность не гнаться под любыми ветрами обид и несправедливостей. Она проходила через все, как будто

мир земных реальностей был для нее астральным. Она не то чтобы не обращала на него внимания, нет, ее волновало все в этом мире, но она умела с поразительной точностью о нем и для него оставлять свои заметы, знаки добра и удивления, знаки боли и сочувствия — в песне своего опыта.

Сафо родилась, жила и пела на острове Лесбос в Средиземном море. Ахматова родилась на юге России, в Одессе, а в юности жила в Евпатории и Херсонесе на берегу Черного моря. Сафо и Ахматова несли в своих душах одно и то же Солнце радости жизни, одну и ту же щемящую красоту женственности, ее непостижимую прелесть. Что из того, что между ними лежит пропасть времени! Они сестры, для песен которых не существует ни времени, ни пространства. Они служили одному солнцу жизни, радости и любви.

И если мне бывает сейчас невыносимо тревожно, я снимаю с полки том Ахматовой и отыскиваю поэму «У самого моря».

Бухты изрезали низкий берег,  
Все паруса убежали в море,  
А я сушила соленую косу  
За версту от земли на плоском камне...

Я читаю эти строки, и меня начинает обступать музыка радости и света, музыка солнечных бликов и легких барашков волн, набегающих на золотой песок, меня начинает захватывать ощущение счастья жизни, я вижу провал в бесконечную глубину пронизанной солнцем синевы, чувствую запах моря, как запах вечности,— вот он крылышком колибри касается моих ноздрей, и весь я наполняюсь свежестью этого юного мира, свежестью ветра с привкусом степной полыни.

Поэма захлестывает меня, как морская волна, и смывает с меня весь пепел перегоревших раздумий о безысходности человеческого горя, суетная тревога становится осмысленной, пустыня неверия и отчужденности зацветает дикими маками веры, вырастающими на крови ненависти и расплаты.

Я очень люблю поэму «У самого моря», поэму вечной трагедии истинной любви, поэму вечного ее возрождения.

Смуглый и ласковый мой царевич  
Тихо лежал и глядел на небо.  
Эти глаза зеленее моря  
И кипарисов наших темнее,—  
Видела я, как они погасли...  
Лучше бы мне родиться слепой.  
Он застонал и невнятно крикнул:  
«Ласточка, ласточка, как мне больно!»

Наверно, чудо поэзии в этом и есть — чудо умения преодолением своего горя снимать горе с другой, близкой по страданию души, возвращая ее к радости жизни. Ведь, в конце-то концов, жить — значит радоваться! «...И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Я понимаю: мудрость Тютчева была и ее, ахматовской, мудростью, редчайшим свойством, дарованным истинному художнику, понимающему, что в самом деле «невозможно жить без солнца телу и душе без песни».

В ее теле жило это солнце, в ее душе жила эта песня. И она всю свою жизнь делилась с миром этими неубывающими редчайшими сокровищами. За это ей благодарны все, кто ищет общения с ее поэзией и умеет понимать ее благую исключительность.

Поэзия Ахматовой солнечна, проста и свободна, как ее юность. Она родная сестра прекрасной поэзии Эллады. Пусть у нее другой строй и ритм, другая музыка, это не мешает ей быть по-эллинически вещей и вечной.

Когда я впервые увидел в Лувре статую Самофракийской Победы, то вслед за стихами Николая Тихонова вспомнил ахматовского «Рыбака». Вспомнил потому, что, как и стихи Тихонова, как сама статуя Самофракийской Победы, ахматовское стихотворение предельно просто и точно передает мысль о красоте проявления божь-

ственного творческого духа человека. Эти явления искусства стоят в одном ряду прекрасного. Здесь одна и та же пластика — в слове и в мраморе, пластика предельно высокого мастерства.

Я держу в руках том Ахматовой и читаю: «В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещенье — Анна, сладчайшее для губ людских и слуха». Так она пишет о своей юности — торжественно, одически, а ведь мало кто знает, что, когда она узнала о том, что она Поэт, и поверила в эту неизбежность, не кто иной, как отец запретил ей подписывать стихи отцовской фамилией Горенко, и она взяла фамилию своей прабабушки-татарки — Ахматова.

Мир благодарен этому имени.

Я произношу его вслух, и начальное «Ах!», заключенное в ее поэтическом имени, выражает и мое восхищенное отношение к ее судьбе плакальщицы и пророчицы, некоронованной королевы любви и красоты, которым в конечном счете надлежит победить на земле все злое в человеке и человечестве.

Я читаю книгу Ахматовой как откровение человеческой души, примером своим облагораживающей мою жизнь и жизни всех людей, которые склоняют головы перед песней ее откровения.

Из-под каких развалин говорю,  
Из-под какого я кричу обвала!  
Я снова все на свете раздарю,  
И этого еще мне будет мало.  
Я притворилась смертною зимой  
И вечные навек закрыла двери,  
Но все-таки узнают голос мой,  
И все-таки ему опять поверят.

Восточная мудрость гласит, что не каждую правду говорить нужно, но эта мудрость может плодить только льстецов. Творчество Ахматовой предельно правдиво и искренне. А запрет, если подумать, сам по себе бесполезен, потому что он, возбуждая острое любопытство к запрещенному, в конце концов разоблачает его.

Жизнь Анны Андреевны Ахматовой проходила в трудное время и не щадила ее нежную душу. Но эта душа оказалась стойкой, высоконравственной, способной переносить лишения всяческих, выражаясь словами Маяковского, «бед и обид» и выращивать из них открыто правдивую поэзию. Но Маяковский этого не выдержал и пустил себе пулю в сердце, а она — все выдюжила.

Водю пахнет резеда  
И яблоком — любовь.  
Но мы узнали навсегда,  
Что кровью пахнет только кровь.

Как она умела добиваться такой сжатости и поэтической динамики, схожей с процессом превращения угля в алмаз! Здесь все просто и значительно, как в «Азбуке» Льва Толстого, по которой она училась читать. Все, что попадало в поле ее зрения, все, что вызывало в ней желание выразить увиденное и тронувшее ее душу словом, после ее замет становилось и оставалось вечным.

Я не знаю, сколько раз она бывала в Кисловодске. Это не имеет значения. Значение имеет то, что в двух строках:

Здесь Пушкина изгнание началось  
И Лермонтова кончилось изгнание —

она передала всю суть истории, связанной с этим местом.

Книга собрания стихотворений Анны Андреевны Ахматовой — очень емкая, масштабная книга о двадцатом веке, его трагедиях и надеждах. Ее стихи — как трава, выравная к солнцу на пепелище, трава, вопреки всему, густая, зеленая. Гуще

и зеленее прежней, которая здесь росла, новая вырастает на пепле старой, как знак вечной жизни, вечного ее продолжения и преображения.

Когда б вы знали, из какого сора  
Растут стихи, не ведая стыда,  
Как желтый одуванчик у забора,  
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,  
Таинственная плесень на стене...  
И стих уже звучит, задорен, нежен,  
На радость вам и мне.

Анна Андреевна Ахматова любила жизнь во всем многообразии ее проявлений. Она любила свою родину — Россию. Это была прежде всего любовь к русскому языку, к его богатству, его поэзии, самая главная, самая верная ее любовь, подтвержденная всем ее многострадальным, устремленным к совершенству творчеством.

Эта любовь индивидуальна и общезначима. Она исходит от нее одной.

Ей посвящали стихи Блок и Пастернак. Ее портреты писали лучшие художники ее времени — и реалисты, и сверхмодные.

Слава не отходила от ее дверей, но она не то чтобы не пускала ее к себе, нет, она просто не придавала ей уж очень большого значения.

Она была необходима времени, и время было необходимо для нее в самых разных формах его проявления.

Трезвый взгляд на движение самого времени никогда не изменял ее мнению и вкусу. Ее оценки, как правило, всегда были и просты, и точны, как это подобает истинному поэту. Как трогательно она вспоминала о Владимире Маяковском, как будто бы таком далеко для характера ее таланта, а на самом деле таком близком и дружественном:

Все, чего касался ты, казалось  
Не таким, как было до сих пор,  
То, что разрушал ты,— разрушалось,  
В каждом слове бился приговор.  
Одинок и часто недоволен,  
С нетерпеньем торопил судьбу,  
Знал, что скоро выйдешь весел, волен  
На свою великую борьбу.

Ахматова сама лучше всех критиков определила свое назначение в мире, свою судьбу и свою программу:

Чтоб быть современнику ясным,  
Весь настезь распахнут поэт.

Этой распахнутостью она тоже умела владеть, владеть мастерски, скромно, без экзальтации и принижения. Она и тут была верна святой естественности человеческой души.

Она умела по-тютчевски сочувствовать и очищать человеческую душу от ненависти и мести осмыслением правды трагедии. Она умела осмыслять прошлое, ради того чтобы его трагедии не повторялись в более широком масштабе.

Гуманизм был врожденным свойством ее характера. И когда началась великая беда мира — вторая мировая война, она писала:

Когда погребают эпоху,  
Надгробный псалом не звучит,  
Крапиве, чертополоху  
Украсить ее предстоит.  
И только могильщики лихо  
Работают. Дело не ждет!

И тихо, так, господи, тихо,  
Что слышно, как время идет.  
А после она выплывает,  
Как труп на весенней реке,—  
Но матери сын не узнает,  
И внук отвернется в тоске.  
И клонятся головы ниже,  
Как маятник, ходит луна.

Так вот — над погибшим Парижем  
Такая теперь тишина.

Это уже эпос времени, и весь цикл «В сороковом году», так же как «Северные элегии», «Библейские стихи», есть предчувствие и предупреждение краха, есть ощущение смертельной мировой беды и надвигающейся на родную землю катастрофы.

Пророческие слова, соединенные строгим ритмом, напоминают по вещему женскому чувству плач Ярославны, и мне невольно вспоминаются слова Случевского: «А Ярославна все-таки тоскует в урочный час на каменной стене». Значит, поэзия жива и неистребима.

Герой французского Сопротивления, прекрасный поэт Франции и свободы Поль Элюар писал: «Пока на земле все еще есть насильственная смерть, первыми должны умирать поэты...» Они так и умирали. «Сердце отдав временам на разрыв». Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Блок, Есенин и Маяковский, Твардовский и Смеляков. В этом святая правда поэзии, без которой человеческая жизнь на земле зашла бы в тупик. Я думаю об этом, склоняя голову перед памятью Анны Андреевны Ахматовой.

Ведь это она в первые дни нашествия фашизма на Советский Союз обратилась ко всем женщинам Родины со словами клятвы:

И та, что сегодня прощается с милым,—  
Пусть боль свою в силу она переплавит.  
Мы детям клянемся, клянемся могилам,  
Что нас покорится никто не заставит!

Я слышал эту клятву вместе с однополчанами за тридевять земель западнее Ленинграда и вместе с ними, вместе со всей мировой поэзией верил в то, что «Дело наше правое. Враг будет разбит, Победа будет за нами». Верила в это и Анна Ахматова:

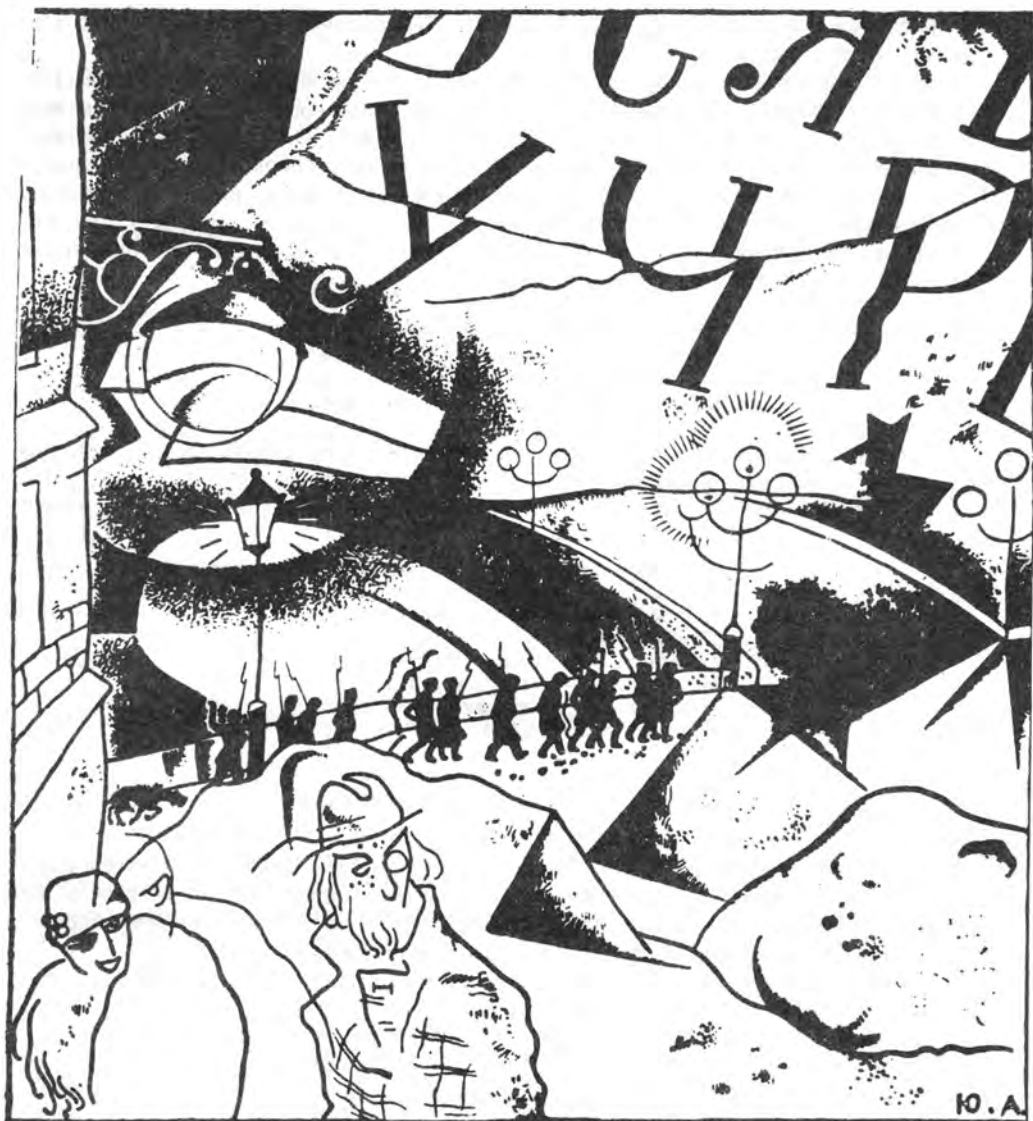
Мы знаем, что нынче лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет.  
Не страшно под пулями мертвыми лечь,  
Не горько остаться без крова,—  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим, и от плена спасем  
Навеки!

Анна Ахматова верила в Победу, звала народ к Победе, она вместе со всем народом победила самое страшное зло двадцатого века — фашизм. Великое русское слово, произнесенное Ахматовой: «Для славы мертвых нет», — озвучено мрамором и бронзой памятников Гнева и Скорби павшим защитникам Родины.

Где елей искалеченные руки  
Взывают к мщенью — зеленеет ель,  
И там, где сердце ныло от разлуки,—  
Там мать поет, качая колыбель.  
Ты стала вновь могучей и свободной,  
Страна моя!

Ю. Анненков.  
Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать», 1918 г.



Но живы навсегда  
В сокровищнице памяти народной  
Войной испепеленные года.

Для мирной жизни новых поколений,  
От Каспия и до полярных льдов,  
Как памятники выжженных селений,  
Встают громады новых городов.

Она успела это увидеть, успела об этом сказать и точно, и впечатляюще просто. В сентябре 1941 года, в блокадном Ленинграде, вместе со всеми, с противогазом, перекинутым через плечо, она дежурила на крыше, а в 1950 году, тоже вместе со всеми, сажала тоненькие побеги лип на топкой и пустынной косе, где теперь «десятки быстроскрылых, легких яхт на воле тешатся... Да, это Парк Победы».

Анна Андреевна Ахматова была великой труженицей. Кроме лирики, она оставила нам прекрасные исследования, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину, литературные воспоминания о сверстниках, «Поэму без героя», «Реквием» — страницы высокой Правды Времени и Поэзии. Она много и плодотворно занималась переводами, на которых лежит отличительная печать ее вкуса и мастерства.

Строгий вразумительный голос Ахматовой, исполненный глубинного мужества, нельзя спутать с другими голосами блистательных поэтов двадцатого века. Он очень индивидуален и вызвал целую волну подражаний, столь назойливую, что Ахматова сама обратила на нее внимание в «Эпиграмме»:

Могла ли Биче, словно Дант, творить,  
Или Лаура жар любви восславить?  
Я научила женщин говорить...  
Но, боже, кто их замолчать заставит!

Талант Ахматовой был мудрым и хорошо знал, что подражание губит поэзию, раздвоя ее своей мнимой значимостью и общедоступностью. Крест индивидуальности таланта — очень трудный крест, избавиться от него нельзя, и Анна Андреевна Ахматова несла его до конца своих дней. Он был ее мукой и утешением одновременно.

Многое еще, наверно, хочет  
Быть воспетым голосом моим:  
То, что, бессловесное, грохочет,  
Иль во тьме подземный камень точит,  
Или пробивается сквозь дым.  
У меня не выяснены счеты  
С пламенем, и ветром, и водой...  
Оттого-то мне мои дремоты  
Вдруг такие распахнут ворота  
И ведут за утренней звездой.

Когда ее возраст пересек семидесятилетнюю черту, когда ее черная челка, спускавшаяся на прямые строгие брови, освещенная зеленовато-сероватым светом удлинненных глаз, побелела и откинулась на затылок, обнажив прекрасный высокий лоб, когда ее походка стала подчеркнута степенной и она всей своей статью стала похожа на мать королевы, к ней пришла слава, уже основательно верная, а не ветреная, как прежде, пришла и неотступно следовала за ней. Она ее не прогоняла и даже не иронизировала над нею. Она принимала ее как должное, без охов и ахов, с полным сознанием своего достоинства.

Уходи опять в ночные чаши,  
Там поет бродяга-соловей,  
Слаще меда, земляники слаще,  
Даже слаще ревности моей.



За два года до смерти Ахматова побывала в Италии, за год — на родине Шекспира. В Италии ей вручили премию «Этна-Таормино», в Англии — диплом почетного доктора Оксфордского университета. Она и это приняла как должное.

В 1965 году в издательстве «Советский писатель» в Ленинграде вышел однотомник ее стихотворений и поэм — объемистый том в белой суперобложке с рисунком, сделанным во времена «Вечера» и «Четок» в Париже ее итальянским другом художником Модильяни. Ахматова назвала однотомник «Бег времени».

Бег времени ее судьбы, ее жизни, ее поэзии завершился. Череда уходящих в глубь прошлого событий сделала Ахматову заметнее в мире не только поэзии, но и самой жизни.

Она не сетовала на возраст. Она и старость принимала как должное. Она была жизнестойкой, как татарник, пробивалась к солнцу жизни из-под развалин вопреки всему — и оставалась собой.

А я иду, где ничего не надо,  
Где самый милый спутник — только тень.  
И веет ветер из глухого сада,  
И под ногой могильная ступень.

Двадцать лет назад, в промозглый мартовский день я стоял у ее изголовья и смотрел на ее гордое лицо. Я не знал тогда, да и теперь не знаю, какие тени витали над ее прекрасным лбом и плотно сжатыми губами с чуть заметной улыбкой, что эти тени хотели сказать ей, что она могла им ответить. А воображать... воображать в минуты прощания не положено.

Мы ее похоронили под Ленинградом, в поселке Комарово на Карельском перешейке, на кладбище среди соснового леса. И летом и зимой на ее могиле всегда лежат живые цветы. Розы. Ландыши. Цикламены. И ромашки тоже. Дорожка к ее могиле не зарастает травой летом и не заносится снегом зимой. Ветер с залива шумит в вершинах сосен, и они разговаривают, чуть раскачиваясь, между собой о чем-то своем, недоступном нам, людям. К ней приходят и юность, и старость, приходят женщины и мужчины. Для многих она стала необходимостью. Для многих ей еще придется необходимостью стать.

Такая у нее участь. Ведь истинный поэт живет очень долго и после смерти своей. И люди будут идти сюда долго, очень долго —

Будто там впереди не могила,  
А таинственной лестницы взлет.

Мужество Правды и Поэзии ничего не боялось и не боится, даже бессмертия. Оно выдержит и это испытание.

## ОТКРЫТОЕ МОРЕ

К моменту написания этого стихотворения Сергею Колбасьеву было 24 года — родился в 1899-м.

Шестнадцати лет поступил в Морской кадетский корпус, 9 марта 1918 года досрочно выпущен в связи с закрытием корпуса, назначен на линкор «Петропавловск» — Балтика. Осенью 1918-го в должности артиллериста на эсминце «Москвитянин», который, естественно, был уже красным, перешел с Балтики на Каспий, принимал участие во взятии Энзели. Помощником командира и старшим помощником воевал на миноносце «Прыткий» в составе Волго-Каспийской флотилии. В сентябре 1919 года на уже родном линкоре «Петропавловск» участвует в обороне Петрограда. Затем Азовская военная флотилия, затем флагсекретарь начальника оперативного штаба действующей эскадры Черного моря с одновременным исполнением обязанностей командира дивизии минных истребителей и сторожевых катеров. 15 февраля 1922 года по ходатайству наркома просвещения А. В. Луначарского об откомандировании с флота для работы в издательстве «Всемирная литература» приказом наркома по морским силам увольняется в запас.

Не ручаюсь за точность дат — в разных архивных документах они разные. Но и то подумайте: время-то было какое не бумажное.

В поэзии я полный профан. Поэтому приведу отзыв на ранние стихи и поэмы С. Колбасьева его современника — из статьи в альманахе «Книга и революция» № 7, 1922 г., подписано «В. Р.».

«Стихи Колбасьева читайте вслух. Прислушайтесь к их ритмическому ходу. Какое властное преобладание озола, дающее крепкую стремительность его любимому хорею:

Вылетели из вокзала  
И врезались в темноту...

Слова сухи, отчетливы, как команда. В них даже есть не совсем приятный металлический привкус.

Пусть это иногда похоже на хороший перевод с английского, пусть. Хочется думать, что С. Колбасьеву удастся найти какие-то освеженные повороты поэтического синтаксиса.

Только что вышла его поэма «Открытое море». Ощущение большой сухости, сжатости, нервного подъема (хотя бы в описании морского боя):

И стеклянным столбом плеснул снаряд,  
И второй, и третий, и два подряд.  
Зеленый огонь, короткий гром,  
Это мы стреляем, и мы попадем.  
Бинокль не выскользнет из руки,  
Отрывисто лязгают замки,  
И снова огонь, толчок и гром,  
И осколки визжат кругом.

.....  
Дернул судно тупой удар,  
Летит зазубренная вода,  
.....

— Пиши в журнал: четыре часа,  
Крен на правую, пожар...

Композиционно поэма дает резкий, почти геометрический чертеж. Ее можно было бы иллюстрировать графически.

Сегодня в ранних поэтических опытах С. Колбасьева легко обнаруживается влияние и Гумилева, и Киплинга, но основа, основа-то какая самобытная, литая, гулкая. К концу литературной жизни С. Колбасьев скажет: «Впрочем, я вообще не люблю слова «лихость». Я предпочитаю решимость в выполнении опасного, но необходимого маневра и спокойный отказ от ненужного риска». Зато в книгах он этому правилу начисто изменял: «Люди творили революцию, а заодно создавали необычайную сюжетную прозу, туго набитую действием и романтикой. Боюсь, что ее занимательности они не ощущали».

Да, настоящие революционеры — всегда художники, хотя они и ломают массу дров в музеях и храмах. Колбасьев погиб в те же времена, что Тухачевский и Бабель. Сохранились воспоминания человека, который был подселен в одиночную камеру к Колбасьеву на несколько суток — тюрьма была переполнена. Сергей Адамович начал подозревать собеседника в провокаторстве, и, как ныне модно говорить, тестировал его, задав вопрос:

— Кого больше любите — Пушкина или Лермонтова?

Собеседник смешался. Ведь каждый русский знает, что выше Александрийского столпа вознес непокорную голову только Пушкин. И все-таки каждый в разные этапы своей жизни имеет полное право колебаться между двумя этими великими именами.

— Знаете, Пушкин — это более чем гениально, но, не знаю почему, больше всех люблю Лермонтова,— таков был ответ.

— И вам не стыдно признаться?

— Иногда неловко, но что поделаешь?

— Ну, так можете успокоиться,— сказал Колбасьев, успокаиваясь сам, ибо лихорадка подозрительности отпустила его: ведь искренний человек не может быть подсадной уткой.— И я в этом грешен: необыкновенно люблю Лермонтова.

Из письма сокамерника С. Колбасьева к дочери писателя Галине Сергеевне: «Через несколько часов я узнал, что сосед, несмотря на то что заперт около 7—8 месяцев в одиночке, знает многое, что делается в тюрьме. С несколькими камерами перестукивается. Умеет это идеально: и по тюремной азбуке, и по азбуке Морзе. По азбуке Морзе работает, как настоящий радист.

Так как о современной литературе знал очень мало, то беседы по этим вопросам были невозможны. Но сосед, как оказалось, хорошо разбирается в электротехнике, а радио знает лучше меня — инженера-электрика.

Сосед был в неладах со своим следователем, потому что никаких шпионских нелепиц о себе до сих пор не подписал. Поэтому разрешения на пользование книгами не имел. Также был лишен «выписки»: кто поладил со следователем, мог примерно один раз в месяц выписать на определенную сумму продукты из тюремной лавки. Гулять во внутренний двор его не выводят. Отрезан. И вот семь месяцев — всегда один. Чтобы поддерживать в себе жизнь — ходьба вдоль камеры. Пять шагов вперед, поворот, пять шагов назад. Надо пройти десять километров в день...

Почему-то запомнилось разоблачение им легенды о появлении на Руси трех норманнов — Рюрика, Синеуса и Трувора. На финском (или на шведском?) языке «синеус» и «трувор» обозначают не собственные имена, а выражение-понятие, кажется, «с чадами и домочадцами»... Очень сокрушался, что не может передать родным главное — о своей полной невинности перед Советской властью, перед Россией. Это самое сокровенное желание он высказывал с такой болью, которая мне была родна...

И если Вы не видели отца после 1937 года, я чувствую себя вправе передать от него привет и воспоминание. В конце концов, от нас всех ничего более не остается. С сердечным приветом *В. Ярошевич*. 4.II.1971 г.»

Сергею Колбасьеву чуть больше двадцати лет: «Ветер четвертый день от залива. Наверное, уже затопило Гавань. Значит, пора собираться в море, если оно идет навстречу, на каменных улицах Петербурга отыскивая меня».

Это записано стихами, но здесь к месту будет в строку.

Писатель Колбасьев начинается с темы петербургского наводнения. В этой теме — Петр, Пушкин, революция, морская стихия.

«Я поэмы этой капитан, но и мне не повернуть обратно корабля, идущего на гибель...»

Хотим мы или не хотим, но есть на этом свете судьба, рок. Но судьба-то всегда ведет именно туда, где ты должен быть и куда ты, послушный зову судьбы и приказу совести, идешь.

Память о тех, кто делал революцию, защищал ее и не склонил головы перед клеветой и ложью в самые ужасные моменты жизни, останется в памяти народа навечно. Свидетельством этого является и нынешняя публикация стихотворения Сергея Адамовича Колбасьева (Сергей Колбасьев. «Недра». Книга третья. М., 1924).

\* \* \*

— Светят прожекторами  
И, кажется, крейсера,  
От них не уйдешь, пожалуй,  
А уходить пора.  
Что ж, держим на север,  
Если нет другого пути.  
Минные заграждения? —  
Попробуем пройти.

Командир замолк, отвернулся,  
И стало слышно тогда,  
Как под высоким носом  
Громко шипит вода.  
И мы в ответ промолчали,  
Мы понимали все:  
Надо, чтоб враг не слышал  
Про наш проход по косе.

Спереди, справа, слева  
Выставлены полосой  
Круглые, черные мины,  
На шесть фут под водой,  
А наша осадка — десять,  
Но только не думай. Считай.  
Тупые удары сердца,  
Тупые удары винта.

Если заденем — ключьями  
Ляжем в песчаный грунт, —  
Если проскочим мимо —  
Восемьдесят секунд.  
Нет! О часах не думай,  
Страшнее удара счет.  
Следи, следи за компасом —  
Тридцать секунд еще.  
И когда треугольный бакен  
Проскользнул и исчез вдали,  
Голосом командира  
Ветер сказал: — Прошли. —

А потом во всю мою вахту,  
Обернувшись лицом в корму,  
Командир не сказал ни слова,  
И мы не мешали ему.

До утра я стоял с ним рядом  
И взглянул, когда рассвело,  
На прозрачные, серые пальцы,  
Охватившие леер узлом.  
Я взялся за них, но оставил:  
Он стоя войдет в свой порт,  
Он командир миноносца,  
Хотя бы и был мертв.

*1923 г*

## ИСКРА НЕ УГАСЛА

Книгу эту приобрел у букинистов и прислал мне в подарок один из ленинградских приятелей, большой любитель редких изданий. На титуле небольшой книжки в сером переплете указано: «Ленинградский Дом детской литературы. Стихи детей. Сборник первый. 1936»; и в верхнем правом углу: «На правах рукописи». Как следовало из предисловия С. Я. Маршака и вступительной статьи от редакции, книжка была составлена из стихов детей, учившихся в Доме детской литературы, — участников соревнования школьников, проведенного в Ленинграде по инициативе С. М. Кирова.

Краткие сведения о Доме детской литературы и необычном детском клубе при нем побудили меня заняться поиском материалов об этом интересном деле. Более всего меня заинтересовали дальнейшие судьбы авторов этого сборника — четырнадцати ленинградских школьников, для которых эта книжка была первым серьезным выступлением в печати. «Не знаю, многие ли из них всецело посвятят себя литературному искусству, — писал в статье к сборнику С. Я. Маршак. — Быть может, их пафос, наблюдательность, настоящее поэтическое вдохновение уйдут в другое русло. Все равно. Талант нужен для всякого труда...» Какой же путь выбрал в дальнейшем каждый из авторов этого сборника?

Прежде всего я обратился к материалам, связанным с деятельностью С. М. Кирова, и к творческому наследию С. Я. Маршака. Выяснить удалось следующее.

В начале 1934 года в Ленинграде по инициативе С. М. Кирова было проведено соревнование юных музыкантов, художников, литераторов, названное «конкурсом юных дарований», в котором приняли участие 43 000 ленинградских школьников. «Вождь ленинградских большевиков С. М. Киров, — писал много лет спустя С. Я. Маршак в ответном письме директору Музея С. М. Кирова в Ленинграде А. И. Панкратьеву, — приложил много усилий к тому, чтобы конкурс юных дарований не стал самоцелью, а помог бы дальнейшему воспитанию и развитию талантов, обнаруженных в результате конкурса. Он вложил в это дело, как и во все другие свои начинания, глубокую политическую мысль и творческую инициативу». Сергей Миронович Киров сравнивал соревнование школьников с искрой, которая не должна угаснуть. Для ребят, лучших в конкурсе по литературе, было решено создать детский литературный клуб — Дом детской литературы, который возглавил С. Я. Маршак, в те годы редактор Ленинградского Детиздата. Задачи Дома детской литературы он видел в том, чтобы «развить в юных литераторах любовь к социалистической родине, интерес к ее настоящему и прошлому, стремиться расширить их кругозор, научить их уважать и ценить разные отрасли человеческого знания и труда — для того чтобы их будущая литературная работа была глубокоидейной и разносторонней». Он сам и сотрудники его редакции называли Дом детской литературы «Детским университетом». Он и был университетом по широте и разнообразию занятий, которые в нем проводились. Работа с детьми доставляла С. Я. Маршаку огромную радость. «Мечтаю о том времени, — писал он в письме А. М. Горькому, — когда я наконец буду заниматься тем, что люблю больше всего, — писанием сказок, редакционной работой и детским университетом».

В письме к А. И. Панкратьеву С. Я. Маршак писал о том, что после отъезда из Ленинграда он потерял из виду своих воспитанников. Ему было известно лишь то, что некоторые из них стали журналистами, научными работниками, литераторами. Из этого же письма следовало, что талантливые поэты Катувльский и Поляков, стихи которых были опубликованы в сборнике «Стихи детей», пали смертью храбрых на полях Великой Отечественной войны.

Позднее среди публикаций ленинградского журнала «Нева» середины шестидеся-  
тых годов отыскивались воспоминания их товарища по Дому детской литературы, также  
одного из авторов сборника «Стихи детей», А. Л. Гольдберга о годах учебы в «Детском  
университете». Один из первых учеников Дома детской литературы, в своих воспоми-  
наниях он писал о тех замечательных людях, которых разыскивал и привозил на  
встречи с ребятами С. Я. Маршак в старый особняк на Исаакиевской площади, где  
размещался Дом. В детский клуб приглашали известных ученых и писателей, худож-  
ников и путешественников. Школьники слушали увлекательные рассказы о классиче-  
ской и современной литературе, о завоевании Арктики и героях гражданской войны,  
встречались с детскими писателями Е. Шварцем, Д. Хармсом, Л. Пантелеевым. Встре-  
чи с интересными людьми чередовались с литературными занятиями под руководством  
С. Я. Маршака. Большие надежды возлагал он на Шуру Каткульского. «Ему нравился  
этот спокойный, сдержанный юноша, — вспоминал А. Л. Гольдберг, — темперамент  
которого можно было обнаружить в его стихах о музыке, которой он увлекался, о мо-  
ре, в поэме «Хибины», помещенной в сборнике «Стихи детей». Александр Каткульский,  
ставший, как и его отец, геологом, и историк Юрий Поляков погибли в самом начале  
войны. Погибли на фронте и два других автора — Илья Вольтинский и Ростислав Кет-  
лер. Десять лет было Ростиму Кетлеру, когда он сочинил стихи, оцененные С. Я. Мар-  
шаком как «самые трогательные лирические стихи, полные чувства природы, полные  
личных, самых непосредственных переживаний»:

...Помню я горку свою дорогую,  
Помню, как с мамой там часто лежал,  
Помню, дорогу железную строил,  
Помню, лопаточкой землю копал.  
В землю я столбики врыл небольшие,  
Гоголя там я всего прочитал:  
«Майскую ночь», даже сказку о Вие,  
После чего я три ночи дрожал.

Стихи Шуры Каткульского, которые сберегла его мама, и чудом сохранившиеся  
в блокадном Ленинграде стихи Юрия Полякова С. Я. Маршак вместе с А. Л. Гольд-  
бергом готовили к публикации в ленинградском сборнике «День поэзии». Но о самом  
авторе воспоминаний в журнале «Нева», А. Л. Гольдберге, никаких сведений у меня не  
было. Не без труда удалось установить, что доктор исторических наук Александр  
Львович Гольдберг заведовал сектором научных исследований в Государственной  
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Это была нить  
для дальнейших поисков. Но она оборвалась — Александра Львовича уже не было  
в живых.

Никаких сведений об остальных авторах сборника найти не удавалось. И, честно го-  
воря, я потерял всякую надежду. Прошло больше года. В Доме ученых Одессы была  
устроена встреча с приехавшими из Ленинграда писателями Семеном Ботвинником и  
Всеволодом Азаровым. С большим интересом Семен Владимирович отнесся к вопросу  
о Доме детской литературы и первом сборнике «Стихи детей». Оказалось, что он учил-  
ся в «Детском университете» и принимал участие во втором сборнике под таким же  
названием, выпущенном в 1939 году, никаких упоминаний о котором ранее мне не  
доводилось встречать. Вступив в детский литературный клуб уже после издания перво-  
го сборника, он знал о нем лишь понаслышке. Впервые просматривая эту книжку, он  
с горечью говорил о трагической гибели уже в послевоенные годы Ильи Мееровича,  
рассказывал об авторе монументальной поэмы о Ломоносове, опубликованной в сбор-  
нике «Стихи детей», Аврааме Новикове — ныне докторе философских наук,  
профессоре, заведующем кафедрой философии в Ленинградском институте культуры  
им. Н. К. Крупской, о первом сборнике стихов Веры Скворцовой, подготовленном  
к изданию ее друзьями, когда автора уже не было в живых. В стихотворении, поме-  
щенном в сборнике «Стихи детей», одиннадцатилетняя поэтесса Вера Скворцова  
прощается со своим детством:

Детство, детство, ты несешься,  
И летят, летят года,  
Детство, детство, не вернешься  
Ты ко мне уж никогда.  
И спокойно дремлет кукла  
В пыльном ящике в углу,  
И валяются скакалки  
В коридоре на полу.  
И лошадка уж, игрушка,  
Не несется, не храпит,  
А, понутив свои ушки,  
Без одной ноги стоит...

Когда Вере Скворцовой было 17 лет, началась война. Многим ее планам не суждено было сбыться. Она перенесла блокаду Ленинграда. Окончив после войны Литературный институт им. М. Горького, работала в Ленинградском радиокомитете.

Возвращая книжку, Семен Владимирович посоветовал обратиться к ответственному редактору первого сборника «Стихи детей» Александре Иосифовне Любарской в надежде, что ей известно что-либо о судьбе остальных авторов. Александра Иосифовна в середине тридцатых годов была одним из редакторов Ленинградского Детиздата. «Радуюсь тому, — писала она, отвечая на мои вопросы, — что наше давнее дело вызывает интерес и теперь». Первый сборник «Стихи детей», по ее словам, был подготовлен по инициативе Ленинградского горкома ВЛКСМ как отчет о том, чем занимались дети в Доме детской литературы. Поэтому и издан был сборник на правах рукописи очень малым тиражом — в 300 экземпляров.

Александра Иосифовна и, по ее просьбе, А. Новиков рассказали об остальных авторах этой книжки. Анатолий Бобков стал научным работником, Люда Виноградова — инженером-химиком. Николай Леонтьев до недавнего времени — доцент кафедры литературы в Ленинградском институте культуры им. Н. К. Крупской. В Библиотеке Академии наук в Ленинграде работает Надежда Никифоровская. В сборник «Стихи детей» были включены стихотворения тринадцатилетнего ленинградского школьника Юры Капралова. Заслуженный деятель искусств доктор искусствоведения Георгий Капралов — редактор «Правды» по разделу кино, автор нескольких сценариев и книг о зарубежном киноискусстве.

Первый сборник «Стихи детей» был единственным изданием Дома детской литературы, осуществленным редакцией С. Я. Маршака, которая в конце 1937 года распалась. Второй сборник был подготовлен к изданию совершенно другой редакцией Детиздата в 1939 году как одна из книг издательского плана. В этой книжке, экземпляр которой хранится в фондах Одесской государственной публичной библиотеки, наряду с уже знакомыми, приняли участие новые авторы. Сборник открывался словами Сергея Мироновича Кирова: «Вы видите небывалое, новое детское творческое движение. Это величайшая сила. Пройдет еще немного времени, и вы увидите, во что это выльется, если мы сумеем должным образом этим делом овладеть». В сборнике было помещено одно стихотворение ленинградского школьника Семена Ботвинника, сегодня автора многих поэтических сборников, составителя ленинградского сборника «День поэзии». Впервые были опубликованы в этой книжке стихи поэта Анатолия Чепурова — первого секретаря Ленинградского отделения Союза писателей, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

Юрий Забинков стал филологом, преподавал в школе литературу. Ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда и Сталинградской битвы Павел Гандельман — преподаватель медицинского института. Наталья Коханович — ученый-математик.

В сборник «Стихи детей» были включены стихи Нины Островской. Война прервала ее учебу в Горном институте. Вернувшись из эвакуации в Ленинград, она закончила институт, стала геологом. Произведения Нины Островской публикуются в журналах и поэтических сборниках. В ее стихотворении «Стихи незабвенного детства» звучат



воспоминания о детстве, о туристских походах по стране, организованных для ребят в Доме детской литературы:

Стихи незабвенного детства  
Простые, как пенье ручьев,—  
От вас никуда мне не деться,  
Не скрыться за гранями слов.  
В них пылкая юность рассказа.  
Костер пионерский живой,  
Туристские тропы Кавказа  
И росчерк зари над Невой.

Вскоре после издания второго сборника «Стихи детей» Дом детской литературы, или, как он стал называться, Дом литературного воспитания школьников, влился в Ленинградский Дворец пионеров.

Часто вспоминал о Доме детской литературы С. Я. Маршак, считал, что организация его оправдала себя, и очень жалел, что начатое им дело не было продолжено.

Воспоминания о годах учебы в «Детском университете», о своих первых стихах навсегда сохранили его ученики. «Вами зажженный горит огонек»,— писали они в коллективном поздравлении к 75-летию С. Я. Маршака. Искра, с которой сравнивал конкурс юных дарований С. М. Киров, не угасла.

Всегда приветливый, с улыбкой на губах.  
В борьбе суровой закаленный,  
Боец и вождь, чья воля непреклонна,  
Твой памятник, навеки возведенный,  
В твоих делах,—

писал в стихотворении «Кирову» пятнадцатилетний ленинградский школьник Шура Катувский.

Традиции тех лет продолжают и поныне. И сейчас во Дворец пионеров, в литературные кружки приходят учащиеся ленинградских школ со своими опытами. Мы не сомневаемся, что и среди них есть будущие поэты. Работа с ними есть продолжение добрых традиций С. М. Кирова, педагогического наследия С. Я. Маршака.

«БОЕВЫЕ, ГОРЯЧИЕ, ГЛУБОКИЕ...»

От Невы летели мокрые снежные хлопья, перехватывал дыхание шквалистый ветер: на исходе был ноябрь тридцать девятого года.

По дороге к Дому писателя, на Литейном, меня догнал Юрий Инге.

— Получил повестку, направляют на флот, — услышал я сразу, едва мы поздоровались. И, как бы угадывая, о чем я тотчас подумал, он повторил строки песни:

Слушай, товарищ, война началась,  
Бросай свое дело, в поход собирайся.

Знакомы мы были со времен «Резца», я был сотрудником редакции, Инге нередко печатался на страницах этого журнала. И на радио, где я позднее работал, он был одним из наших авторов, только на днях участвовал в передаче вместе с Борисом Лихаревым.

Потом он стал бывать у нас едва ли не каждую неделю, но об этом я расскажу дальше.

Тогда, перед войной, выступления ленинградских поэтов у микрофона не были редкостью, в радиостудиях читали свои стихи Николай Тихонов, Александр Прокофьев, Виссарион Саянов, Николай Браун, Ольга Берггольц, Елена Рывина, Алексей Лебедев, Всеволод Азаров, Илья Авраменко и многие другие.

У нас были постоянные циклы передач, знакомившие с литературными новинками, было немало и радиопостановок.

Одна из них — юмористическое обозрение «Давайте не будем!» — появилась в начале сорок первого года и вскоре стала популярной. Герой обозрения попадал во всяческие переделки, но запросто выходил из любых положений, напевая с чувством собственного достоинства:

Я ответственный съемщик  
Квартиры номер семь,  
Но об этом известно не всем...

Обозрения шли всегда по воскресеньям, утром, очередной выпуск был включен в радиопрограмму на 22 июня, — кто мог предвидеть, каким будет этот день...

Я жду у репродуктора, а «тарелка» молчит, потом послышалась какая-то музыка, короче говоря, в девять тридцать обозрение не вышло в эфир.

Что-то случилось!.. И тут раздался телефонный звонок, начальник отдела Я. Бабушкин попросил немедленно прийти в редакцию.

Я не помню, кто мне в Радиокomiteе первым сказал: война!

А вот то, что я прежде всего сделал, помнится по сию пору, будто это было вчера. Я открыл письменный стол, отыскал несколько страниц со стихами Инге, отдал машинистке, и через полчаса режиссер начал репетировать передачу.

Это были стихи, адресованные всем, кого только что потрясло страшное известие:

...И сражений раскаленный воздух  
Стал отныне общею судьбой  
Нам, несущим вахту на заводах,  
И бойцам, бросающимся в бой.

Родина! Тебе мы присягали  
И, шагая с именем твоим,  
Силой крови, пороха и стали  
В этой битве снова победим!

Если вы возьмете один из недавно изданных сборников поэта, то увидите, что под этими стихами кем-то из составителей помечено: 22 июня 1941 года.

Да, они передавались по Ленинградскому радио в этот день, вслед за правительственным сообщением, и потом еще не раз повторялись.

Но написаны они были не тогда. Юрий Инге не мог этого сделать хотя бы по той простой причине, что встретил он войну в Таллине, а не в Ленинграде.

Когда же были написаны эти стихи?

Февраль сорок первого года. Ко Дню Красной Армии у нас было подготовлено несколько передач и среди них — «Литературный Ленинград». Такое название носила газета, выходившая в городе на Неве в тридцатых годах. А когда она прекратила свое существование, у нее появилась «наследница»: по просьбе Союза писателей мы наладили выпуск радиогазеты.

Отдел поэзии в февральском выпуске был представлен стихами Юрия Инге. Мы не виделись больше года, но я знал, что во время конфликта с маннергеймовской Финляндией он работал в газете «Атака», на базе торпедных катеров, и новые стихи, которые он принес на радио, еще хранили, казалось, отзвуки недавних десантов и боев.

После передачи мы поднялись наверх, в редакцию, разговорились. И как-то незаметно наша беседа соскользнула на тему «А что, если завтра?..».

Пусть читатель не думает, что я стараюсь задним числом представить нас ясно-видцами, нам неведомо было, что война уже на пороге нашего дома. Было другое — что-то тревожное, беспокойное, было какое-то опасение. И я спросил себя: а что, если завтра война?

Мне показалось, что у него тоже мелькнула такая мысль. Он помрачнел и проговорил, словно бы успокаивая себя:

— Не полезут, побоятся...

А я уже не мог остановиться, все сильнее разгорался беспокойный огонек:

— Ну, хотя бы в первый день... Что услышат от нас люди, каким языком мы заговорим?

— Если понадобятся стихи, — сказал Инге, — они будут, по первому сигналу...

— А может быть, есть смысл сейчас об этом позаботиться? Пригодится или не пригодится, там видно будет, а вообще-то, конечно, дай бог, чтобы не пригодилось.

И, переходя на язык деловой прозы, я спросил его:

— А вот вы, Юра, не хотели бы подумать над таким предложением? Понимаю, конечно, что это дикая идея, что мысль, на первый взгляд, ни с чем не сообразная, но ведь может случиться, что мы себе потом не простим, если сегодня этого не сделаем...

Убедил я его вряд ли, но как будто заинтересовал. Договорились только об одном: денка через три я ему позвоню. За эти дни я мог получить свыше или «добро», или «фитиль» за превышение полномочий. И хотя я был ответственным редактором, без ведома и согласия руководства Радиокomiteта нельзя было приступать к этому, прямо скажем, рискованному делу.

Поясню, почему я упомянул о риске.

В то время ни по радио, ни в печати не проскальзывало ни слова об ухудшении отношений с фашистской Германией. В докладах о международном положении также невозможно было обнаружить и намек на угрозу нападения нацистов на Советский Союз. Нас предупреждали: не допускайте ничего, что могло бы стать поводом для враждебных действий гитлеровцев.

И нельзя было поручиться, что не найдется кто-то, кому заблагорассудится извратить нашу честную патриотическую попытку хоть немного подготовиться к роковому дню, истолковать ее как попытку спровоцировать, вызвать панические настроения.

Надо сказать, что к тому времени в литературно-драматической редакции, возглавлявшейся Я. Бабушкиным, талантливым организатором, чутким к запросам времени, сложился коллектив, щедрый на творческие замыслы и начинания. Руководство Радиокomiteта знало, что мы не раз успешно справлялись с непростыми заданиями.

ми, и одобрило наше новое предложение. Но нас предупредили: работу вести без всякой огласки, никто из посторонних не должен знать, что же задумано.

Когда я позвонил Юре и сказал, что согласие есть, ни о каких сомнениях больше речи не было, он ощутил это как свою обязанность — ответить на вопрос «А что, если завтра война?..», ответить стихами доказательными, убеждающими, зовущими на борьбу.

Потом он пришел с первыми, еще черновыми записями будущего текста. Мы уединились в комнате, предварительно наглухо заперев двери, так мы поступали и в дальнейшем, месяца полтора-два. Все больше появлялось в набросках Инге удачных строк, свежих находок, емких литературных образов.

А задание оказалось сложнее, чем мы сперва предполагали. Тема требовала широкого размаха, охватывающего главное, с чем страна поднимется на отпор врагу, в тех, разумеется, масштабах, какие мы могли тогда предвидеть. И вместе с тем у нас не было права раскрывать карты, говорить напрямик, какого врага мы имеем в виду.

Мы читали, перечитывали, правили, продумывали варианты, искали обходные пути, искали интонацию — ораторскую, эмоциональную, но не крикливую.

Я не был бы откровенным, если бы не сказал, как тяжело все это было. Говоришь об атаках, сражениях, как о чем-то свершившемся, и волей-неволей самые мрачные мысли приходят в голову. И вдруг чувствуешь, что слова, которые производишь, будто обжигают губы... Час-другой, больше мы не выдерживали, и Юра уходил, чтобы подумать, потрудиться над новым вариантом.

Наконец — это было, вероятно, в начале апреля — мы снова перечитали страницы от первой до последней строки, и я сказал:

— Юра, по-моему, вы сделали все, что было задумано. Давайте покажем начальству...

Текст Юрия Инге был утвержден с очень незначительными поправками. Стихи, переписанные от руки, я положил в самый дальний угол письменного стола, чтобы никто, даже случайно, их не обнаружил, запер и ключ положил в карман. Он и пролежал у меня в кармане, этот ключ, до 22 июня, до того часа, когда я открыл ящик и вытащил несколько страниц, запряганных среди папок, журналов и книг.

Так завершился этот уникальный эпизод в истории советской поэзии. Вскоре после полудня по радио прозвучали бравурные аккорды походного марша и взволнованные голоса актеров прочитали строки, написанные Юрием Инге:

...Пройдя пограничные знаки,  
Минув засады и ров,  
Разрушим клинками атаки  
Гнездо озверевших врагов.  
Нам это спокойно и четко  
Велела Советская власть.

Получена первая сводка...  
Товарищ! Война началась!

Через неделю я уже был занят выпуском «Радиохроники», получившей в дни блокады широкую известность, вел передачи «Слушай нас, Краснознаменная Балтика!», а затем судьба привела меня на островную военно-морскую базу и в Политуправление флота.

Но больше встретиться с Юрием Инге не довелось. Он работал в редакции флотской газеты, ушел вместе с кораблями Балтийского флота из Таллина в Кронштадт и погиб 28 августа 1941 года во время этого перехода, который вписал одну из самых мужественных и трагических страниц в летопись Великой Отечественной.

Стихи Юрия Инге сражались в поэтическом строю всю войну.

«Боевые, горячие, глубокие... — писал о них Всеволод Вишневский. — Они целиком в борьбе с врагом. Они делают нужнейшее дело».

**ИЗ «ЗАМЕТОК ДЛЯ ПАМЯТИ»**

Кому как, а мне жаль расставаться со старыми записными книжками. Конечно, они в какой-то мере, если воспользоваться выражением Николая Тихонова, являются могилой письменного стола. В них похоронены многие факты, отчеты о событиях давней поры. Но выпадет настроение — и рука потянется к сделанным в свое время заметкам для памяти, и оживут не только факты. Снова перед взором пройдут люди, оставшиеся для тебя вечно дорогими.

Вот только несколько извлечений из записных книжек, относящихся к поэтам и стихам.

**«Я же не умею писать агиток!»**

Начало августа 1941 года. Обстановка на фронте под Ленинградом сложилась хуже некуда. Вот-вот станет известно о фашистском десанте, выброшенном подо Мгу и Шлиссельбург. А пока все наши армии из последних сил, с помощью Ленинградского ополчения, отбивают яростные атаки врага с запада.

На КП нашей 8-й армии все возбуждены. Чувствуется нехватка пополнений, боеприпасов, согласованных действий между разными подразделениями. Думы об одном — всеми силами удержать противника, остановить его.

Вдруг на КП появляется Михаил Светлов, приехавший из Ленинграда на выдавшей виды «эмке». Подлетаю к нему:

— Михаил Аркадьевич, нужны стихи!

— Кому, для чего и когда?

Нет никакого сомнения в том, что Светлов не хуже меня знал обстановку. Вопросы его чисто риторические.

— Сегодня, в завтрашний номер армейской газеты.

Михаил Аркадьевич пожевал тонкими губами, будто пытаюсь проглотить усмешку.

— Старик, ты же знаешь, что я агитки писать не умею.

Так когда-то сказал ему Маяковский, прочитав в «Известиях» стихи Светлова.

Но мне не до шуток и не до воспоминаний. Светлов еще раз ухмыльнулся.

— Что ж, пойду в кусты.

Он действительно отошел от штабной палатки и пересек полянку по направлению к ближним кустам. Я принялся читать политдонесения. Не могу сказать точно, сколько прошло времени, но меня окликнул кто-то из штабистов:

— Ты кому-то нужен.

Выхожу из палатки и вижу Светлова. Он протягивает мне листок со стихами.

Конечно, они тотчас нашли место на газетной полосе. Больше того, нам почему-то пришлось напечатать их дважды. А вот ни в одной из книг Светлова я этих строк не видел. Воспроизведу хотя бы часть стихотворения, которое автор назвал «Братство»:

Здесь мы на Родину завоевали право,  
Здесь в Октябре ударил первый гром,  
Здесь преданность,  
Здесь мужество и слава  
Живут, как в общегитии одном.

Мы стали снова в боевой тревоге,  
И молодость знамена пронесет,  
Чтоб сквозь туман победные дороги  
Опять увидеть с Пулковских высот.

.....  
В одном строю идут отец и брат твой,  
И ленинградец принимает бой.  
И боевою нерушимой клятвой  
Советский город дышит пред тобой!

### «Руками, огрубевшими от стали»

Мне не раз приходилось писать о том, как «руками, огрубевшими от стали», командир тяжелого танка КВ, а потом и командир танкового взвода Сергей Орлов заносил в походную тетрадь стихи, составившие его первую книгу «Третья скорость».

Случилось так, что танковый полк РГК и редакция нашей армейской газеты квартировали по соседству, и Орлов старался улучшить минуту, чтобы побывать в редакции, пообщаться с журналистами и писателями. Нет, это были отнюдь не визиты вежливости. Молодому поэту хотелось общения с профессионалами, а наш брат, газетчик, пользовался этим и бесцеремонно усаживал его за стихи-отклики на сообщения Совинформбюро, ТАСС, вести с фронта.

Орлов не мог отказать нам. И случалось, что в отдельные недели его стихи печатались чуть ли не через день.

Когда рукопись «Третьей скорости» в основном была готова для сдачи в издательство, Орлов попросил меня полистать подшивку газеты, которую я привез с собой с фронта. Времени у нас было немного, но несколько стихов, теперь широко известных, мы все же для книжки отобрали.

Сергей все грозился основательно порыться в подшивке, но какие-то дела его отвлекали.

Как-то на день рождения Сергея я сделал ему «варварский» подарок: аккуратно вырезал из подшивки и сброшюровал его стихи, написанные для «Ленинского пути». Но, видно, и тогда мне не хватило внимательности.

В записной книжке, относящейся к началу мая 1943 года, я наткнулся на такую фразу: «Орлов краснеет, истекает потом, но не выйдет из землянки, пока не выполнит редакционного задания».

И в самом деле, в мае мы напечатали одно за другим четыре его стихотворения. Это были — и подписи под фотографиями, и репортаж «Танкисты подписываются на заем», и попытка рифмованной строкой сделать мгновенный снимок того, что происходит на переднем крае. Вот так, например:

Земля тряслась от пушечных ударов,  
Когда стеной на штурм врага пошли.  
— Сражаться насмерть,— приказал Назаров,—  
Не отдадим врагу родной земли!

Вода вскипала в жарких пулеметах,  
Кипела ярость в сердце у бойцов,  
И падала фашистская пехота —  
Ее разил бесстрашный Картуков...

Но были, конечно, и настоящие стихи. К сожалению, многие из них пришли к читателю тогда, когда поэта уже не было в живых. Среди оставшихся похороненными в подшивке газеты есть и совсем неизвестные. Одни из них — первомайский разговор с бойцом:

Ты слышишь мирный шум берез,  
В окопе тесном вспоминая,  
Как праздновал родной колхоз  
Весенний праздник Первомая.  
Девчата пели на ветру,  
Гармоника играла вальсы,

И выходил ты с ней на круг,  
По клавишам раскинув пальцы.  
Теперь, гармонь свою забыв,  
Кладешь ты пальцы на гашетку,  
Летящих пуль простой мотив  
Звучит над перелеском редким...

Потом свое активное сотрудничество с газетой «Ленинский путь» Орлов назовет «батрацкой работой». Но, видно, газета приучила его к оперативности и приносила удовлетворение. Недаром, уже будучи студентом Ленинградского университета, Орлов часто заходил к нам, уже в газету Ленинградского военного округа «На страже Родины», и охотно выполнял задания редакции. Вместе с М. Дудиным он небезуспешно предпринял попытку написать передовые статьи в стихах. Естественно, что эти «передовые» предназначались главным образом для праздничных номеров. Однако многие из таких стихотворений были написаны в полную меру таланта. Недаром некоторые из них и Дудин, и Орлов потом включили в книги своих стихотворений. Перечитывая сегодня такие стихи, как «Черемуха на Петроградской стороне», «Шестнадцать лет тому назад» и некоторые другие, я снова вижу нашего дорогого Сережу Орлова в тесном кабинетике в доме № 2 на Невском, утирающего платком пот, бегущий по опаленным огнем щекам, прикуривающего одну сигарету от другой, склоненного над листом бумаги...

### **«Чтобы умереть, надо прежде родиться»**

Незадолго до своей смерти Анна Андреевна Ахматова, полушутя-полусерьезно сказала:

— Я открыла глаза Твардовскому на Гитовича-переводчика.

Конечно, это была шутка. Как редактор «Нового мира» Александр Трифонович давно знал и высоко ценил переводческую работу Гитовича, печатал его переводы еще задолго до того, как лично познакомился с Анной Андреевной.

Но Ахматова очень благосклонно относилась к Александру Ильичу, благосклонно и даже бы добавил: признательно. Ведь как раз прежде всего благодаря Гитовичу она открыла для себя корейских поэтов.

Впрочем, мне хотелось бы рассказать о другом.

В 1964 году вышла моя книжка о Сергее Орлове. Главы из нее предварительно печатались в журнале «Октябрь». Александр Трифонович, видимо, мельком прочел их, и особого интереса они у него не вызвали. Когда мы случайно оказались в одном вагоне «Красной стрелы», шедшей из Москвы в Ленинград, Твардовский сказал, что давно заметил Орлова и даже внес его имя в число тех, кого следует выпустить в «Библиотеке поэта».

Тогда я признался, что собираюсь писать об Александре Гитовиче и был признателен Александру Трифоновичу, если бы он, начинавший вместе с Гитовичем в Смоленске, рассказал мне что-нибудь интересное об «Арене» (так называлось литературное объединение смоленских поэтов). Твардовский обещал, хотя тут же посоветовал обратиться к М. Исаковскому, который, по его убеждению, мог бы оказаться мне более полезным. И тут же предостерег: поэты отличаются не по принадлежности к школам, а мерой таланта. Опять вспомнил моего «Сергея Орлова», заметив, что я счастливо избежал искушения засадить Орлова за несуществующую парту «вологодской школы» («Куда бы ни шло, если бы вы вспомнили Батюшкова. Так нет же!»). Вот почему не следует, мол, преувеличивать значение «Арены» в формировании поэта Гитовича.

Прошло еще какое-то время. Александр Ильич показал мне несколько давних писем Твардовского к нему, относящихся к далекой юношеской поре. Впрямую использовать эти письма, носившие сугубо личный характер, я не рискнул, а вот отдельными

цитатами воспользоваться хотел. Но не рискнул сделать это без благословения Твардовского. Написал ему и тотчас получил ответ:

«Уважаемый Дмитрий Терентьевич!

Согласен, что Вы выбрали не самые глупые места из моих мальчишеских писем А. Гитовичу, но, право же, мне было бы неприятно, если бы эти выдержки появились в печати».

В. Саянов, которому я показал письмо Твардовского, сказал, что дает себя знать старая размолвка между двумя поэтами, которые в зрелые годы перешли даже на «вы». Но думаю, что это было полуправдой. Иначе бы Твардовский вряд ли стал печатать Гитовича в журнале и даже обращаться к нему с заказами.

Когда в следующий раз Твардовский оказался в Ленинграде, он через того же Саянова передал мне, что готов встретиться со мной. Об «Арене» мы уже не вспоминали. Действительно, самым подробным образом мне рассказал о ней Исаковский. А вот к стихам Гитовича последних лет Александр Трифонович отнесся заинтересованно. Я знал многие из них наизусть и читал, сидя у Твардовского в гостиничном номере. Но в тот день речь шла о переводах Гитовичем китайских классиков. Твардовский говорил, что плохой поэт не может быть хорошим переводчиком. Переводчик — это тоже судьба. «Во всяком случае, несомненно, дающий становится богаче. Древним китайцам, оказалось, есть что занять у нашего современника». Александр Трифонович явно намекал на известные строчки Гитовича:

В этом нет ни беды,  
Ни секрета:

Прав мой критик,  
Заметив опять,

Что восточные классики  
Где-то

На меня  
Продолжают влиять.

Дружба с ними,  
На общей дороге,

Укрепляется  
День ото дня

Так, что даже  
Отдельные строки

Занимают они  
У меня.

— На театре говорят: режиссер должен умереть в актере,— начал было с пафосом я.

Александр Трифонович поморщился и заметил: чтобы умереть, надо, по крайней мере, прежде родиться. И после минутной паузы, горько усмехнувшись, продолжал: мол, иные современные переводчики — народ закаленный и предприимчивый. О смерти ради другого и речи быть не может. Важнее для них — как можно дольше продержаться на плаву. Гитович — из другого клана. Щедрости ему не занимать.



## МИХАИЛ ЛОЗИНСКИЙ

(1886—1955)

Переводчику Михаилу Леонидовичу Лозинскому принадлежат выдающиеся работы, вершиной которых справедливо считается перевод «Божественной комедии» Данте (1939—1945), удостоенный в 1946 году Государственной премии СССР.

Публикуемые нами заметки М. Л. Лозинского, посвященные созданию этого замечательного перевода (написанные в 1950 году для советского радиовещания на Италию), являются одновременно правдивым свидетельством времени, в котором жил и работал поэт — переводчик Данте.

Часть этой работы была осуществлена М. Л. Лозинским в неимоверно тяжелых условиях ленинградской блокады.

У Л. И. Хаустова, среди его литературного наследия, есть поэма «Опасная сторона», посвященная памяти М. Л. Лозинского.

В этой достоверной, почти документальной работе рассказывается в числе прочего и о том, как автор перевода «Ада» помог молодому поэту-фронтовику вернуть в университетскую библиотеку утерянную в первые месяцы войны эту книгу.

Мне хочется в начале заметок привести очень достоверный стихотворный портрет Лозинского, сделанный Леонидом Хаустовым:

Он сам открыл мне вход парадный,  
и я запомнил навсегда  
пожатие руки прохладной  
и жест его: прошу сюда!  
Седеющий, худой, высокий,  
в доху тяжелую одет,  
такой спокойно-одинокий  
передо мной стоял поэт.  
Поэт, который русским словом  
нам слово Данте передал.  
Он даже профилем суровым  
похож был на оригинал.  
Копилка огоньком дрожала  
на письменном его столе,  
где муфта женская лежала,  
чтоб руки сохранять в тепле.

(«Опасная сторона»)

Но, пожалуй, лучше всего в поэме Леонида Хаустова «Опасная сторона» — сопоставление творения Данте с теми испытаниями, которые мы пережили в дни блокады:

И «Смерть немецким оккупантам»,  
и завывание пурги —  
тут поневоле вспомнишь Данта,  
идя сквозь адские круги.

Двадцать шестого августа 1941 года, за несколько дней до того, как роковое кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось, в старинном доме на улице Воинова, дом 18, в кабинете секретаря Ленинградской писательской организации В. К. Кетлинской заседало правление. Там были преимущественно писатели непризывного возраста.

В книге «До последней минуты» (Лениздат, 1985) в очерке Владимира Бахтина приводится протокол этого заседания, имеющий непосредственное отношение к теме моих заметок. «Есть интересные работы, как перевод Лозинского («Чистилище». — *Вс. А.*), не имеющие отношения к войне, но имеющие историческое значение... Ленинград во время войны работает спокойно, глубоко над большой вещью, которую необходимо издать». Это предложение было выполнено, хотя для осуществления потребовались три военных года.

А теперь мне хочется рассказать о том, как вошла «Божественная комедия» Данте еще раз в хронику ленинградских блокадных лет.

Недалеко от улицы Воинова, где в Доме писателя имени Маяковского в 41-м году заполнялись строки приведенного выше протокола, у набережной Кутузова, напротив Летнего сада, стояла, окруженная подводными лодками, плавбаза балтийских подводников «Иртыш». На ней размещалась и газета БПЛ (бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота), где служили мы с Александром Кроном. В начале января 1943 года в кают-компании кто-то из подводников попросил меня через Книжную лавку писателей, продолжавшую всю блокаду работать в осажденном городе, приобрести «Ад» Данте.

Для чего? Сейчас в Ленинграде, сообщили мне конфиденциально, находится Климент Ефремович Ворошилов. Позднее я понял, что его пребывание было непосредственно связано с готовившимся и успешно проведенным в январе 1943 года прорывом вражеской блокады.

Скоро у Ворошилова день рождения, и ему очень хочется иметь эту книгу. «Ад» Данте в городе, чем-то тоже напоминающем ад.

Но я выполнил поручение и вскоре с торжеством доставил на корабль несколько редких изданий «Ада» на русском языке, в том числе первый русский перевод «Ада» Ф. Фан-Дима в прозаическом изложении, вышедший в 1842 году, и напечатанный в университетской типографии в Москве в 1855 году, перевод с итальянского размером подлинника Дмитрия Мина.

Но мои товарищи забраковали покупки, сочтя, что для данного случая приличествует более пышное издание с гравюрами Доре. Так и прожили эти книги блокаду у меня, сохранившись до наших дней.

В книгу «Ада» в кожаном переплете, с золотым обрезом, вклеено дарственное письмо переводчика, поздравляющее некую «Елизавету Николаевну Титову с днем ангела. Сентябрь. 1857 год. Москва».

Когда в 1944 году Михаил Леонидович Лозинский возвратился после снятия блокады в Ленинград, он привез с собой только что вышедшую на простой газетной бумаге в Москве, в издательстве «Художественная литература», книгу своего перевода «Чистилища», ту, за которую, так же как и за переиздание «Слова о полку Игореве», справедливо ратовала Ленинградская писательская организация.

Вскоре М. Л. Лозинский был выдвинут кандидатом в депутаты Ленинградского Совета, а я стал его доверенным лицом. Вот тогда-то я и поведал Михаилу Леонидовичу рассказанную выше «новеллу» об «Аде» Данте и об известном полководце.

У меня осталась от тех дней подаренная мне Лозинским книга его перевода «Чистилища» с лестной для меня надписью:

«Всеволоду Борисовичу Азарову, поэту и воину, с чувством искренней симпатии и уважения.

*М. Лозинский*  
20.XII. 1944 г

Я начал эти заметки со стихов из поэмы «Опасная сторона», и я хочу завершить их последней строфой из выполненного Михаилом Леонидовичем перевода «Чистилища» «Божественной комедии», прозвучавшей, как мне представлялось тогда и кажется теперь, пророчески:

Я шел назад, священной волной  
Воссоздан так, как жизненная сила  
Живит растенья зеленью живой,  
Чист и достоин посетить светила.

*Всеволод Азаров*

## «ПОЧТИТЕ ВЫСОЧАЙШЕГО ПОЭТА»

(История одного перевода «Божественной комедии»)

Когда, еще молодым человеком, я в 1911 году впервые ступил на почву Италии, с благоговением прочел на кенотафе\* Данте во флорентийской Санта-Кроче: «Onorate l'altissimo poeta» («Почтите высочайшего поэта»), когда два года спустя я склонял голову перед его гробницей в Равенне, я был далек от мысли, что мне когда-либо выпадет на долю высокая честь так близко связать свою судьбу с его великой тенью.

С тех пор «Il bel paese là dove 'l si suona»\*\* жил во мне только как неугасающее воспоминание. Этому воспоминанию я время от времени приносил скромную дань: то были переводы на русский язык нескольких канцон Боккаччо из «Декамерона», сказки Карло Гоцци «Зеленая Птичка» и «Жизни Бенвенуто Челлини», где я пытался воспроизвести удивительную прелесть его выразительной речи, отвергающей все правила грамматики.

Эти переводы были сделаны мною уже в советскую эпоху. В молодой Советской Республике сразу же было обращено большое внимание на проблему художественного перевода как мощного средства интеллектуального общения между братскими нациями Советского Союза и ознакомления широких народных масс, жадно стремившихся к знанию, с наиболее значительными созданиями литератур Запада и Востока. Справедливость требует признать, что искусство поэтического и прозаического перевода поднято в нашей стране на большую высоту и многие достижения его — весьма замечательны.

Подобно многим моим коллегам, я принял деятельное участие в этой увлекательной и плодотворной работе, преимущественно как переводчик-поэт. Я испытывал свои силы в воссоздании на русском языке весьма разнообразных произведений классиков западноевропейских литератур, но едва ли дерзнул бы посягнуть на Данте, «этого властелина возвышенного песнопения, которое реет над другими, как орел» (стихи Данте), если бы на эту опасную попытку меня не вызвали мои литературные друзья и если бы на этом не настаивало Государственное издательство.

Хотя в течение XIX века в России вышло пять полных переводов «Божественной комедии», сделанных стихами (Д. Мин. «Ад» — 1855, полное издание — 1902—1904; Д. Минаев — 1874—1876; А. Федоров — 1892—1894; Н. Голованов — 1896—1902; О. Чюмина — 1900—1902), критика считала, что необходимость нового перевода давно назрела. Тем большей была ложившаяся на меня ответственность.

Излишне говорить о тех огромных трудностях, которые приходится преодолевать переводчику «del poeta sacro» («священной поэмы» — так Данте называет свою «Комедию»), если он ставит себе задачей объединить в неразрывном синтезе филологическую точность и поэтическую гармонию, если он хочет, чтобы его читатель, вникая в трудный и многосложный текст, испытывал хотя бы малую долю того могучего очарования, которым полны терцины Данте, не подражаемые по своей пластичной и звуковой выразительности.

С глубоким волнением приступал я к работе (это было в Ленинграде в начале 1936 года). Мне казалось, что моя затея безумна. Но когда я нашел решение для первого стиха и увидел написанные моим пером первые терцины «Ада», написанные порусски и, как мне казалось, без умаления чести моего родного языка, я вспомнил слова Вергилия своему ученику:

Здесь нужно, чтоб душа была тверда;  
Здесь страх не должен подавать совета.  
(«Божественная комедия»)

\* Кенотаф — надгробный памятник с надписью, сооруженный не на месте погребения умершего.

\*\* Стих Данте «Прекрасный край, где раздается sì». Sì — по-итальянски «да». В данном случае обозначает итальянский язык.

Существенную помощь в моей работе мне оказали научные библиотеки Ленинграда, предоставившие мне необходимые источники для моих дантологических исследований.

Мой перевод «Ада» был издан в Ленинграде в 1939 году с воспроизведением рисунков Боттичелли и с комментарием покойного профессора И. М. Гревса, выдающегося медиевиста \* и горячего друга Италии. В 1940 году он был переиздан в Москве с иллюстрациями Гюстава Доре и с комментарием профессора А. И. Белецкого.

Мой перевод сделан стихами, ибо стихотворная речь может быть воссоздана на другом языке только стихотворной же речью, и он, конечно, соблюдает строение оригинала, а именно терцины. Русская просодия \*\* неадекватна итальянской. Это просодия тоническая. Поэтому стихи моего перевода — стихи ямбические, причем, согласно традиции русских терцин, рифмы парокситонические чередуются с окситоническими \*\*\*, которыми изобилует наш язык.

Благожелательные отзывы критики показали мне, что мой труд был потрачен не даром, а указания на те места в моем переводе, которые, по мнению рецензентов, слишком вольно передавали текст Данте, убедили меня в том, с каким вниманием в нашей стране изучается творчество великого флорентийца.

Такой лестный прием, оказанный моему переводу «Ада» (оба издания которого были распроданы чуть ли не в два дня), вдохновил меня на дальнейшую работу. Перевод «Чистилища» я закончил в конце 1940 года, и он должен был выйти в свет в 1941 году. Вторжение фашистской Германии в мое отечество помешало этому.

Началась блокада Ленинграда, героическая оборона моего родного города. Преклонный возраст делал меня неспособным к военной службе. Но я был человеком пера, а в этой священной войне мы отстаивали не только свою независимость и национальную честь; мы отстаивали не только двойное сокровище нашей культуры: наследие предков и великие достижения молодого советского строя; мы отстаивали все то, что служит воплощением и символом культурного братства народов, которые не могут не быть братьями, хотя эфемерные правительства наших врагов думали иначе. И одним из бесчисленных тому доказательств была судьба моего перевода «Божественной комедии».

Чтобы уменьшить возможность гибели моего неизданного перевода «Чистилища» от авиабомб и артиллерийских снарядов, которыми немцы варварски забрасывали Ленинград, два музея взяли на сохранение в своих глубоких подвалах оригинал и копии моей рукописи. Мало этого. В эти грозные месяцы Советское правительство не забыло, что русский перевод Данте еще не закончен. Оно неоднократно предлагало мне покинуть Ленинград и в более спокойной обстановке продолжать мой труд.

Больно было расставаться с родным городом в такое трагическое для него время. Только после тяжелых колебаний я решился на этот шаг. В конце 1941 года самолет перенес меня и мою больную жену через кольцо блокады. Я получил особое разрешение взять с собой дополнительный груз: чемодан с необходимыми мне книгами и рукописями, без которых мое путешествие было бы бесцельно. Этот драгоценный для меня чемодан содержал исключительно Дантеану. Мы оказались далеко на востоке, на берегу Камы. Здесь, в тихом городке Елабуге, я в 1942 году начал и закончил перевод «Рая». Мне было радостно сознавать, что мой наконец заверченный труд, при всех своих погрешностях, будет новым звеном той прочной цепи старинной дружбы и взаимопонимания, которая связывает мой народ с народом Италии.

Еще не кончилась война, как Государственное издательство художественной литературы в Москве приступило к изданию второй и третьей кантик «Божественной комедии» с моим комментарием. «Чистилище» появилось в 1944 году, «Рай» — в

\* Медиевист — специалист по западноевропейскому средневековью.

\*\* Просодия — здесь: специфика произношения слогов в стихе.

\*\*\* Парокситонические рифмы — те, где ударение на предпоследнем слоге, окситонические — где ударение на последнем слоге.

1945-м. Для каждой из этих частей, как в свое время для «Ада», выдающийся русский дантолог профессор А. К. Дживелегов написал вступительный очерк...

Весной 1950 года в Ленинграде вышло полное издание моего перевода «Божественной комедии», заново пересмотренного, с кратким комментарием и предисловием профессора К. Н. Державина.

Яснее, чем кто-либо, я вижу все недостатки моего труда и строже, чем кто-либо иной, я его сужу. Но да позволит мне суровая тень великого поэта обратиться к ней с умиловительными словами:

Уважь любовь и труд неутомимый,  
Что в свиток твой мне вникнуть помогли.

*(Стихи Данте)*

И если мне все-таки удалось сделать бессмертную поэму Данте более близкой и более дорогой русскому читателю, показав в зеркале моего перевода хотя бы бледное, но все же правдивое отражение «Божественной комедии», я буду счастлив сознанием, что и мой усердный труд послужил великому делу дружбы наших народов.

## ПАМЯТИ ДРУГА

Знакомство мое с Глебом Сергеевичем Семеновым, вначале одностороннее, возникло еще до войны, задолго до первой встречи. В конце тридцатых годов в ленинградских журналах появилось новое имя, сразу обратившее на себя внимание энергией и выразительностью стиха, необычным изображением природы — не спокойно-пейзажным и описательно-статичным, а в драматическом борении каждой травинки за место под солнцем, горячим ощущением жизни, в которой «трудная красота существования» познается в сопряжении высокого и земного, страсти и жестокости, умирания и возрождения.

Вскоре я узнала, что автором этих стихов был начинающий двадцатилетний поэт Глеб Семенов, пасынок Сергея Семенова — челюскинца, создателя популярного тогда романа «Наталья Тарбова» и директора Пушкинского заповедника в Михайловском. В литературную среду Ленинграда тех лет Глеб войти еще не успел.

А потом началась война, блокада, шквал трагических событий, эпоха невозвратимых утрат родных и близких — и открытие нового значительного для меня поэта на время отодвинулось, осталось в той, мирной жизни.

Но после снятия блокады начались возвращения в Ленинград, и тогда в 1944 году я увидела в столовой Дома писателя — естественном центре жизни в то голодное время — Глеба Семенова. Он не был похож на свои мощные, полные жизни стихи — худенький юноша, чуть сутуловатый, насквозь интеллигентный, с умными, понимающими, какими-то застенчивыми глазами, длинными музыкальными пальцами, сдержанный, молчаливый, непривычно вежливый.

Мы разговорились. Он стал бывать у меня и охотно читал мне стихи, еще не опубликованные и не только свои. Он приобщил меня к поэзии Корнилова, которым искренне восхищался. Это его тяготение к органически природному, стихийно-национальному в лирике Корнилова обрело плодотворную поэтическую почву.

Читал стихи Глеб Семенов удивительно. Обычно чтение стихов разделяется на поэтическое и актерское.

Поэты читают, соблюдая ритмический рисунок строки и строфы, монотонно повышая и понижая голос, создают единое музыкальное впечатление от стиха в целом, но часто в этом монотонном, напевном чтении пропадает и скрадывается смысл, вложенный в стихотворение. Актеры ломают строку, выделяют голосом логический смысл слова, часто начисто лишают стихи их специфического звучания и не столько воспроизводят стихотворение, сколько произвольно пересказывают его содержание.

Глеб Семенов взял от этих полярных манер лучшее в каждой из них. Сохраняя и даже сгущая мелодическое течение стиха, он незаметным голосовым курсивом подчеркивал главный его смысл. Это было чтение умное и в то же время интонационно-завораживающее и открывающее внутреннюю суть стиха. Это была поразительно ненавязчивая и в то же время глубокая интерпретация прочитанного. Глеб, по-видимому, унаследовал способности своей матери Натальи Георгиевны Волотовой — артистки и мастера художественного чтения.

Интересны были в его исполнении композиции стихов Пушкина — своеобразные лирические циклы о любви или о поэзии.

Вскоре Глеб, сам еще молодой поэт, оброс учениками, стал вести кружки во Дворце пионеров, а потом и поэтический семинар в Горном институте. Среди его учеников были такие широко известные теперь поэты, как Британишский, Агеев, Кушнер, Галушко, Слепакова, Мочалов, Халупович.

Многие тянулись к нему, несмотря на то что характер был у него нелегкий, нервный, взрывчатый. Он мог посреди оживленного разговора вдруг замолчать, уйти в себя, а то и обрушить неоправданный гнев на чью-то неповинную голову. Но всегда опоминался и так искренне, от всей души делал первые шаги к примирению, что этому невозможно было противостоять.

А из учеников своих он создавал настоящих и прочных друзей, потому что для него поэзия была не формальной школой правил стихосложения, а самой жизнью. Неразрывность жизни и поэзии — самое характерное для него. Недаром он в посвящениях к последнему итоговому своему сборнику 1979 года многим писал: «На память о жизни».

Способность открыть себя и свое отношение к миру он ценил в искусстве прежде всего. Он мог не взять в свой семинар человека, умело и гладко слагающего общелитературные стихи, но охотно и терпеливо бился над подчас беспомощными строками какого-нибудь начинающего поэта, если провидел в них зерно личности и живой темперамент.

Он говорил своим ученикам — пишите о том, что у вас болит, что вас тревожит, что сейчас больше всего вас в жизни и своей судьбе задевает.

В своих многочисленных письмах ко мне он, наряду с очень личными исповедальными признаниями, не раз возвращался к мысли, что стихи надо «писать душой».

«Мало, ох как мало могут сейчас говорить душою,— Пастернак, Маяковский, Цветаева, Есенин, Мандельштам, Ходасевич — говорили душой. Великолепный Заболоцкий — почти что нет. Твардовский — эпик, Мартынов озабочен больше как сказать. Показался было мне таким Тарковский, но вот в «Звезде» прочел и... вот и остается Ахматова и несколько молодых. А все это означает определенное место свое, отличное не только по художественным особенностям, а по душе, не по ракурсу видения, а по душе, по тому же богу, если хотите. Водораздел проходит не между Слуцким и С. Смирновым, а между Слуцким и мной, не между Агеевым и Шошиным, а между Агеевым и Кушнером...»

И в том же письме: «Для меня поэзия всегда только следствие душевной необходимости, и когда я не улавливаю ее, я не улавливаю уже ничего и становлюсь глупоглухим. Но если такой душевный повод есть, я понимаю самое сложное и самое разнодалекое. Пастернак и Цветаева, Ходасевич и Ахматова, Маяковский и Блок. В стихах же Кузмина я не вижу необходимости вымычать себя (как, впрочем, и в большинстве Хлебникова), а воспринимать голым ухом (не душой) меня не хватает. Дорасту, может быть».

Эта же мысль подтверждается строками, внедренными в разные его стихи.

О душе:

Ей страшно обнаженной перед веком,  
Но в этом-то и есть ее бессмертье.

Или:

Чем живу неоткровенней,  
Тем слова мои бедней.

И то же противопоставление глубокой, истинно значительной жизни и профессионального версификаторства:

Одический восторг немотства  
И праздничное превосходство  
Над повседневным рифмачом.

И еще о том, что поэзия не профессиональная работа, а жизненное предназначение человека — в письме от 8 апреля 1965 года:

«...Все больше и больше проникаюсь мнением Пастернака, что поэзия (и литература вообще) — не профессия, а миссия, и только таких могу считать поэтами. Никому в конечном счете это не служение, а просто невозможность быть, существовать иначе. И рад бы, да нельзя!»

И еще о решающем значении стихов в его жизни (14 декабря 1965 года): «Они (стихи.— Т. Х.) необходимы мне как некое отдавание себе отчета, как вздох, как оглядка. Пожалуй, отсутствие душевной возможности писать и есть отсутствие оглядки. В конце концов, мне ведь неважно, какие стихи получатся (т. е. важно, но это вторичная важность),— важно писать, т. е. чувствовать себя человеком — без этого не чувствую себя таковым».

Именно в свете этого понимания «оглядки» как состояния, предшествующего зарождению стихов, интересны мысли Семенова об уединении, о минутах, когда поэт наедине с собой впитывает и постигает всю скрытую в повседневной суете потаенную жизнь мира. Одиночество — трагично, об этом часто и сильно говорил Семенов во многих своих стихах поры блужданий, поисков своего настоящего дома, прочной семьи и возможности безоглядно отдаться творчеству. Одиночество лишает опоры и насущно необходимого общего языка с людьми. Но уединение, когда в какой-то минутной отрешенности поэт свободно и вдумчиво проникает в

Тишайшего неба большие свершенья  
И маленьких звуков земных копошенья,—

целительно и плодотворно. Оно — источник характерного для поэзии Семенова сочетания всеохватности мира с подробностями, подробностями, образующими многоголосое звучание жизни.

«Я весь живой, я весь подробный»,— писал Семенов в своем неопубликованном вступлении к блокадному циклу.

Вот такие состояния, предшествующие созданию стихов, не раз отражены Семеновым в его письмах.

«До стихов дело еще не дошло, да, очевидно, и не скоро дойдет, но уже завишу от облаков, от ветреной изнанки листьев, от солнца под ногами... Дойка коров и злобещее юродство козлиное, певучие тропинки с холма и дальний звон монастырских колоколов, покрякивание двухдневных утят, запах расстеленного сена — ух, какие это яркие события и впечатления. Я не говорю уже о россыпи первых лисичек, о требовательном трепете осины, о змее, переползающей дорогу. Дни заполнены до краев этим мудрым идиотизмом жизни ради жизни. А трава, а небо — и действительно — „я хочу умереть на траве“».

Вот это радостное вбирание подробностей природной жизни, питающих и растящих будущие стихи, лирически и ритмично, почти как стихотворение в прозе, отражено в письме от 21 мая 1965 года: «Бывает такое озарение дня тоже на его склоне, ближе к вечеру. Вдруг какое-то беспощадное озарение — и каждый листик увиден отдельно, и не только какой он сейчас, но и судьба его, и тишина услышана в ее ликования и безнадёжности одновременно, и узнана тщета своих шагов, хотя все еще продолжаешь путь, и угадана суть пешехода, идущего тебе навстречу, хотя и видишь ты его в первый раз и последний... А придя домой, чувствуешь себя разбитым, будто много было всего... Страшная и прекрасная вещь такое озарение! У меня потом бывают стихи...»

И еще, 14 августа 1964 года: «... Самым наполненным и наполненным меня был час, когда по сложившимся обстоятельствам я простоял в кромешной темноте, прислонясь к дереву, и слушал ночные звуки спящего поселка — собачий перелай, шорох ежа у ног, влюбленный шопот прошедшей эстонской пары, храп из дома напротив, погукивание далеких поездов... Ведь еще и листья падали, нет-нет и упадет где-то лист...»

В этих письмах, предшествующих стихам, поражает проникновенно-симфоническое восприятие мира, когда каждый звук уловлен тончайшим абсолютным слухом, и в то же время все они сливаются в единую симфонию жизни.

Органически-музыкальное восприятие характерно для всего творчества Семенова. Музыка всегда была глубочайшим источником его поэтических наитий. Не случаен цикл музыкальных портретов Семенова, посвященный Баху, Бетховену, Равелю,



Шостаковичу. Органичен для него образ Филармонии, проходящий через все его творчество.

Семенов — постоянный и ревностный посетитель концертов. Как-то в одном из нескончаемых наших разговоров я сказала, что, судя по аналитической тонкости и психологичности его жизненных наблюдений, пора ему наряду с лирикой попробовать себя в прозе. И тогда Глеб признался, что уже давно задуман им роман о Филармонии. Вся жизнь молодых современников послевоенных лет должна в этой вещи проходить на фоне филармонических концертов, конкретно и подробно описанных. Целая портретная галерея дирижеров, пианистов, скрипачей возникнет на страницах этого романа. И на этом музыкальном фоне будут протекать встречи, дружбы, разрывы, отталкивания и притяжения героев и вся их характерная для той эпохи жизнь. К сожалению, этот оригинальный и увлекательный замысел так и остался неосуществленным. Но в стихах образ Филармонии проходит через всю его поэзию. Лучшее стихотворение блокадного цикла «Концерт» символизирует торжество духа и бессмертия над немощью плоти, истерзанной голодом, лишениями и угрозой гибели. А в послевоенных стихах победа мира над разрушением и смертью олицетворена в образе «белоколонного ковчега» — Филармонии:

Фугасные развеяв тонны,  
Земную взрезав круговерть,  
Летит ковчег белоколонный  
Из века в век, сквозь жизнь и смерть.

И в поздних стихах снова образ музыки, заполняющей «белоколонный ковчег» Филармонии, приобщает к бессмертию и космической высоте чувств:

Стократ блажен, кому припасено  
Пожизненное место у колонны  
Бетховен ли, Равель ли — все равно.  
Поверх любой эпохи плыть в ковчеге  
И знать, что никуда как в мирозданье  
Над хорами распахнуто окно.

Отношение к музыке у Семенова куда шире, чем узковкусовое «люблю — не люблю». Музыка для него — символ каких-то общих и насущно нужных времени свойств. Любопытно в этом смысле его письмо о Бахе:

«Думаю, ощущаю, что пора от новой, все позволяющей себе, ломающей все законы, живущей только по своим собственным законам музыки, переходить к Баху, и не столько даже к его отрешенности и надмирности, сколько к его предельной ясности, к его сказуемости (в противовес захлебам несказанности)».

Это передано и в его стихах:

Что в общем знаменателе у Баха?  
Лишь небо, высота и чистота!

Отношение к Баху как признак общности устремлений не без мягкой иронии проскользнуло в одном из писем. Речь идет об одном в то время «молодом даровании»: «Даже в малых дозах он меня раздражает. Склонен, однако, думать, что виноват я, а не он. Ведь как-никак, он любит Баха!»

И еще одна черта, отличающая Глеба Семенова в его личных контактах с людьми: он дружил не только со сверстниками, но и с младшими и со старшими. Его всегда тянуло к людям старшего поколения, с большим жизненным и историческим опытом. Среди его друзей можно назвать талантливого прозаика Л. Брандта, переводчика О. Савича, мудрого литературоведа Л. Гинзбург, переводчицу Э. Линецкую. Многие из них олицетворяли для него дух именно ленинградской интеллигенции. Когда, в силу личных обстоятельств, Глеб Семенов должен был в течение нескольких лет жить и работать в Москве, он горько тосковал по любимому своему с детства, близкому ему Ленинграду и по старшим ленинградским друзьям, которых он несколько чуть иронически, идеализируя их, называл «высокой стаей»:

О стая лебедей! Прекрасно  
Отяжелевших лебедей!

И в том же стихотворении воспевал их «готическую тягу ввысь». Романтизация ленинградского круга сказалась и в письме от 5 сентября 1962 года: «у каждого из нас (так и хочется написать это «нас» с большой буквы) есть свое место, своя высота полета, свой почерк свободного парения. Всех нас объединяет одно: мы не устаем. Не устаем держать взятую нами высокую ноту. Не устаем быть щедрыми ни по отношению к миру, ни по отношению друг к другу. Не устаем интересоваться новым и новыми — посмотрите, как мы обросли, а во многом уже срослись с теми, идущими вслед за нами. Мы не устаем принимать их как равных. В этом большая наша гордость и правота».

Наряду с собственным творчеством главная воодушевляющая забота Глеба Семенова — эстафета поколений, чтобы не прерывалась благородная традиция увлеченности своим делом, любви к искусству, к полновесному слову, выражающему стремления, искания и бури века.

Семенов всегда был мастером контактов. Он умел соединять людей, близких по духу и до него разрозненных, не знающих друг друга. Он, проникательно и глубоко вникая в особенности каждого молодого поэта, с которым общался, объединял их в одну дружную поэтическую семью.

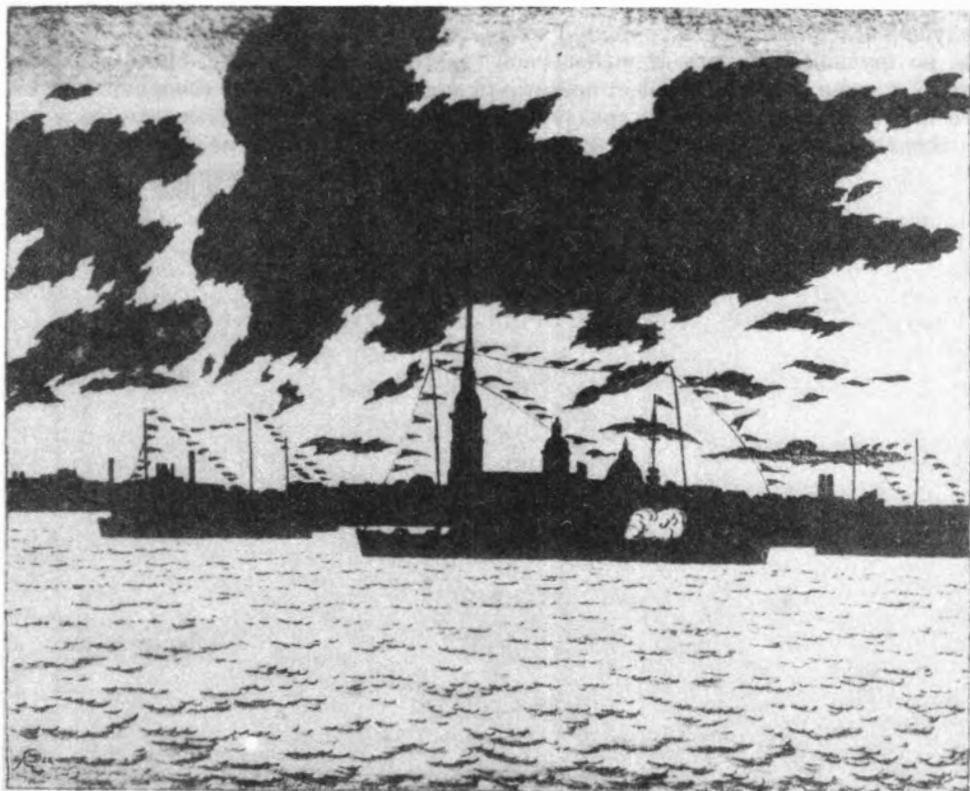
Щедрость духа, способность отрешиться от суеты и внешнего успеха воспитывал он в молодых, превращая их в друзей и соратников.

О щедрости душевной как необходимом человеческом качестве говорил он и в письме о том, каким ему хочется видеть собственного сына: «*Мой* должен быть добрым и не столь самоуверенным. *Мой* немислим без думанья о любящих его, без терзаний за них, даже когда он ничего не может поделать; *мой* не может видеть мир, слушать музыку, читать стихи только сам для себя, без отзвука в других».

Стихи и жизнь, творчество и человеческое общение в дружбе, любви, заботе об «идущих вслед за нами» покоятся у Глеба Семенова на одном, простейшем, казалось бы, но труднодостижимом в полноценной гармонии бытия законе: брать и давать. Брать из мира все, что он может постигнуть, и щедро возвращать воспринятое всем, кто тебя окружает, — стихами, раздумьями, сочувствием, жизненным примером.

Этим навсегда дорог, близок и незабвенен для нас Глеб Семенов.

*М. Добужинский.*  
Из альбома «Петербург», 1921 г., литография



## ЕЛЕНА РЫВИНА

(1910—1985)

Странные бывают совпадения — словно и вправду что-то можно почувствовать на расстоянии.

В августе прошлого года в Коктебеле шел вечер поэзии. Начать выступление хотелось чем-то ленинградским, притом написанным недавно. И вот я читаю первое стихотворение, предварительно сказав, что оно посвящено ленинградскому поэту Елене Рывиной, что живет она в центре Ленинграда на Дворцовой набережной, где окно ее небольшой квартиры, расположенной в первом этаже, выходит прямо на Неву и Петропавловскую крепость. Мне трудно читать — читаю как бы сквозь помехи: перед глазами неотступно стоит узкая, более чем скромная комната. Самое примечательное в ней — окно, заключающее в себе редкий для жилья вид, ради которого хозяйкой раз и навсегда упразднены портьеры. Внутри и снаружи золотится вечер, близких нет, заходят и уходят немногие, нечастые гости, зато, вне всяких сомнений — это угадывается безошибочно! — сюда частенько заглядывает Муза — ведь она умеет дорожить бескорыстными привязанностями. Мне очень трудно читать — от сознания того, что та, кому посвящено это стихотворение, никогда не унывающая, ни на что не жалующаяся, напротив, всегда готовая сама оказать поддержку, ободрить, когда в этом есть необходимость, кого-то другого, заслужила куда больше тепла, чем пришлось на ее долю по случайному недосмотру справедливости. Мне бесконечно трудно читать, хотя в тот вечер я еще не знаю, что ее жизнь трагически оборвалась двумя днями раньше вблизи железнодорожной платформы одного из ленинградских пригородов, что ей уже не вернуться в эту комнату, к этому окну, а мне предстоит туда войти лишь еще один раз, месяца три спустя, вместе с членами комиссии по ее литературному наследию.

Не однажды я слышала от нее о том, что в последние годы ею написано много новых стихов о любви и могла бы составить целая книга, для которой есть название «Благодарю тебя, любовь!», но она не знает, как ее сложить. «Вот в том-то и дело», — задумчиво и безнадежно подвела она итог разговору о новой книге, и никакие, ничьи слова со стороны были не в силах устранить загвоздку.

Многие из этих стихов я слышала в ее чтении, но когда в холодный промозглый день мы в несколько рук разбирали ее бумаги, впопыхах создалось впечатление, что стихов этих совсем немного — возникло даже опасение, что часть из них могла читаться ею просто на память и вообще не была записана, так как зрение у нее все более ухудшалось. И все же то, что могло показаться легендой, самым неожиданным образом обернулось реально существующим фактом, когда уже в архиве на улице Воинова Всеволод Борисович Азаров и я перелистывали небольшой блокнот в твердом красном переплете, плотные листки которого от начала до конца, иногда и на оборотах, и на вложенных добавочных листках, были заполнены многими и многими еще не опубликованными строками.

Несколько стихотворений для этой публикации представляют собой лишь начальные записи блокнота. Я помню, как она их читала, я все еще слышу ее голос, — голос, оказывается, дольше человеческой жизни даже в том случае, когда ни при чем техника звукозаписи.

*Ася Векслер*



Я была с тобой часто сурова,  
Чтоб никто бы не смел упрекнуть.  
Но теперь повторяю я снова:  
Не забудь. Не забудь. Не забудь.  
Я служила тщеславной гордыне,  
Лишний раз я боялась взглянуть,  
Но теперь повторяю: отныне —  
Не забудь. Не забудь. Не забудь.  
Я была с тобой часто иная,  
Просто в бездну боясь заглянуть.  
Но всей жизнью тебя заклинаю:  
Не забудь. Не забудь. Не забудь.

## ВОРОНА

Этим карканьям бессонным  
Нет ни меры ни числа.  
Что ты делаешь, ворона?  
Может, ты с ума сошла?  
Объясни, чего ты хочешь,  
Что ты, собственно, пророчишь?  
Может, ты предупреждаешь  
О возможности беды?  
Значит, ты меня не знаешь,  
Нет, меня не знаешь ты.  
Я в глубокой обороне  
В разных сполохах огня.  
Счастье я не провороню —  
Не тревожся за меня!

## ДОЖДЬ

Ты еще не наплакалось, небо?  
Потерплю. Ведь на то — я внизу.  
Вот бы здорово. Вот бы и мне бы  
Выжимать так обильно слезу.  
Что ты тянешь так нудно и чинно,  
Не давая пробиться лучу?  
У меня посерьезней причины,  
Но ведь я, как ты видишь, — молчу!  
Научи меня технике плача —  
Ныть и ныть, не желая конца.  
Может, в этом и скрыта задача,  
Как влиять на людские сердца!



Зачем меня толкнул ты снова  
На ненавидимую ложь?  
В любви не бережность — основа,  
А ты меня не бережешь!  
Ты меня не бережешь!  
Прижаться к твоему плечу.  
Ты сделал все, чтоб я боялась,  
А я бояться не хочу.  
И хочешь, в сущности, ты малость —  
Ты только хочешь, чтоб рассталась  
С тем, с кем живу уже года.  
Что ж, я расстанусь —  
и останусь  
Одна на свете. Навсегда!

## АННЕ АХМАТОВОЙ

Королева? Нет, совсем не это.  
Гордое достоинство поэта  
Не желает мантий и корон.  
Гордое достоинство поэта.  
Перемены сумрака и света —  
Вот ее неколебимый трон.  
Не помыслив о слоновой башне,  
Зная все сурово и бесстрашно,  
Верная земле и небесам.  
Униженье? Как унизить можно  
То, что так светло и непреложно.  
Кто унизит — тот унижен сам.  
Королевство требует величья,  
Но она, в своем простом обличье,  
В полном равнодушии к вещам,  
В полном равнодушии к жилищу  
Никакие ценности не ищет,  
Кроме слова, отданного нам.  
Тяга к жизни и людей все новых, —  
На каких покоится основах  
Это свойство странное одно?  
Эта тяга — всяко быть на людях.  
Но при этом все же не забудем  
Вечно одинокое окно.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ  
3

ВЛАДИСЛАВ ШОШИН  
24

### ОКТЯБРЬСКИЙ ФАКЕЛ

ЯКОВ БЕРДНИКОВ  
6  
ИЛЬЯ САДОФЬЕВ  
6  
ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ  
7  
ЕВГЕНИЙ ПАНФИЛОВ  
7  
ВИССАРИОН САЯНОВ  
9  
БОРИС СОЛОВЬЕВ  
9  
НИКОЛАЙ БРАУН  
10  
ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
10  
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ  
11  
ИЛЬЯ АВРАМЕНКО  
11  
МИХАИЛ ДУДИН  
СЕРГЕЙ ОРЛОВ  
12  
ВСЕВОЛОД АЗАРОВ  
12  
АНАТОЛИЙ АКВИЛЕВ  
13  
АЛЕКСАНДР БАЮРОВ  
16  
СЕМЕН БОТВИННИК  
16  
ВИКТОР ГАНШИН  
17  
МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ  
17  
АНАТОЛИЙ КРАСНОВ  
18  
ОЛЕГ СЕРДОБОЛЬСКИЙ  
18  
РИЗА ХАЛИД  
19  
ВАДИМ ХРИЛЕВ  
20  
ОЛЕГ ЦАКУНОВ  
21  
АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ  
22  
ВАДИМ ШЕФНЕР  
24

### ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

ЛЕОНИД АГЕЕВ  
28  
ВСЕВОЛОД АЗАРОВ  
30  
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ  
33  
ЛЮДМИЛА БАРБАС  
34  
АНАТОЛИЙ БЕРГЕР  
35  
ВИЛЕН БОРИСОВ  
37  
МАИЯ БОРИСОВА  
38  
СЕМЕН БОТВИННИК  
39  
ПАВЕЛ БУЛУШЕВ  
41  
ВИКТОРИЯ ВАРГАС  
42  
РАИСА ВДОВИНА  
44  
АСЯ ВЕКСЛЕР  
45  
СЕРГЕЙ ВОЛЬСКИЙ  
46  
МАРИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ  
47  
ТАТЬЯНА ВЬЮСОВА  
47  
НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА  
49  
ТАТЬЯНА ГАЛУШКО  
50  
ГАЛИНА ГАМПЕР  
51  
МИХАИЛ ГОЛОВЕНЧИЦ  
52  
ВАЛЕНТИН ГОЛУБЕВ  
53  
ГЕРМАН ГОППЕ  
54  
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ  
55  
ЛЕОН ГРОХОВСКИЙ  
57  
СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ  
58  
ИВАН ДЕМЬЯНОВ  
60

ЗАХАР ДИЧАРОВ	ОЛЕГ ЛЕВИТАН
61	96
ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ	ЮРИЙ ЛОГИНОВ
61	98
ВЛАДИМИР ДРОЗДОВ	АЛЕКСАНДР ЛЮЛИН
62	98
ЭЛИДА ДУБРОВИНА	СЕРГЕЙ МАКАРОВ
63	99
МИХАИЛ ДУДИН	ВИКТОР МАКСИМОВ
64	100
ЛЕОНИД ЗАМЯТНИН	ИРИНА МАЛЯРОВА
68	101
СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ	НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ
69	103
АНАТОЛИЙ ЗЛЫДНЕВ	РИММА МАРКОВА
69	105
ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ	ИГОРЬ МИХАЙЛОВ
71	106
АНАТОЛИЙ ИВАНЕН	ИРИНА МОИСЕЕВА
71	107
НИНА ИВАНОВА-РОМАНОВА	ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ
72	108
ИГОРЬ ИНОВ	ЛЕВ МОЧАЛОВ
73	109
МИХАИЛ КАНЕВСКИЙ	ГЕОРГИЙ НЕКРАСОВ
74	111
НАТАЛЬЯ КАРПОВА	ТАМАРА НИКИТИНА
75	112
СЕРГЕЙ КАШИРИН	ЛАРИСА НИКОЛЬСКАЯ
77	113
ПЕТР КОБРАКОВ	НАТАЛЬЯ НУТРИХИНА
78	114
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ	ЮРИЙ ОБОЛЕНЦЕВ
79	114
АЛЕКСАНДР КОМАРОВ	ИГОРЬ ОЗИМОВ
79	115
МАРИЯ КОМИССАРОВА	НЕЛЛИ ОРЕХОВА
80	116
ИГОРЬ КРАВЧЕНКО	БОРИС ОРЛОВ
81	116
ЮРИЙ КРАСАВИН	ОЛЕГ ОХАПКИН
81	117
АНАТОЛИЙ КРАСНОВ	ГЛЕБ ПАГИРЕВ
82	118
ВИКТОР КРУТЕЦКИЙ	ВАЛЕРИЙ ПАЙКОВ
84	119
ИГОРЬ КУБЕРСКИЙ	НАТАЛЬЯ ПИРОГОВА
84	121
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ	АЛЕКСАНДР ПЛАХОВ
85	122
ЛЕВ КУКЛИН	СЕРГЕЙ ПОГОРЕЛОВСКИЙ
87	123
ТАРАС КУРЬЯНОВ	НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА
89	124
НИКОЛАЙ КУТОВ	ВАЛЕНТИН ПОПОВ
90	127
АЛЕКСАНДР КУШНЕР	ВЛАДИМИР ПРИХОДЬКО
91	128
БОРИС ЛЕВИН	СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД
95	129

- ЗОЯ РОМАНОВА  
 129
- ИРЭНА СЕРГЕЕВА  
 131
- ЕЛЕНА СЕРЕБРОВСКАЯ  
 132
- ЕКАТЕРИНА СЕРОВА  
 133
- ГЕОРГИЙ СИМАКОВ  
 134
- ЮРИЙ СКОРОДУМОВ  
 135
- НОННА СЛЕПАКОВА  
 136
- ЕВГЕНИЙ СЛИВКИН  
 137
- ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ  
 138
- ИГОРЬ СМИРНОВ  
 139
- АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ  
 139
- ВИКТОР СОСНОРА  
 141
- ЙОЛЕ СТАНИШИЧ  
 142
- ВОЛЬТ СУСЛОВ  
 144
- ОЛЬГА ТОЛМАЧЕВА  
 146
- ДМИТРИЙ ТОЛСТОБА  
 146
- ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ  
 147
- ИЛЬЯ ФОНЯКОВ  
 149
- РИЗА ХАЛИД  
 151
- ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ  
 153
- АНАТОЛИЙ ХРАМУТИЧЕВ  
 154
- ВАДИМ ХРИЛЕВ  
 155
- ОЛЕГ ЦАКУНОВ  
 157
- ГЕРМАН ЦВЕТКОВ  
 159
- АНАТОЛИЙ ЧЕПУРОВ  
 160
- АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ  
 162
- ЮРИЙ ШЕСТАКОВ  
 163
- ЮВАН ШЕСТАЛОВ  
 164
- ВАДИМ ШЕФНЕР  
 166
- ЭДУАРД ШНЕЙДЕРМАН  
 168
- ВАЛЕРИЙ ШУМИЛИН  
 168
- ОЛЕГ ЮРКОВ  
 169
- НОРА ЯВОРСКАЯ  
 170
- МИХАИЛ ЯСНОВ  
 171
- СВЕТ ПАМЯТИ**
- ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ  
 Вечно юный  
 174
- ЛАРИСА РЕЙСНЕР  
 (Вступительное слово В Кондрьяненко)  
 177
- ВЕРА ЛУКНИЦКАЯ  
 Так они начинали  
 180
- МИХАИЛ ДУДИН  
 Души высокая свобода  
 185
- ВИКТОР КОНЕЦКИЙ  
 Открытое море  
 193
- АЛЕКСАНДР КЛЕВИЦКИЙ  
 Искра не угасла  
 197
- ВАЛЕРИЙ ГУРВИЧ  
 «Боевые, горячие, глубокие...»  
 201
- ДМИТРИЙ ХРЕНКОВ  
 Из «Заметок для памяти»  
 204
- МИХАИЛ ЛОЗИНСКИЙ  
 «Почтите высочайшего поэта»  
 (Вступительное слово Вс Азирова)  
 208
- ТАМАРА ХМЕЛЬНИЦКАЯ  
 Памяти друга  
 213
- ЕЛЕНА РЫВИНА  
 (Вступительное слово А. Векслер)  
 219



**День поэзии 1987.** Ленинград: Сборник.— Л.:  
Д 34 Сов. писатель, 1987.— 224 с.

Этот сборник посвящен 70-летию Великого Октября. В сборник вошли стихи о Владимире Ильиче Ленине, о революционном Петрограде, о Ленинграде — послеоктябрьском, трудовом, героическом, военном, сегодняшнем, а также новые стихотворения ленинградских поэтов

В разделе «Свет памяти» — очерки и воспоминания о мастерах поэтического слова, живших и активно работавших в нашей стране, в нашем городе.

Д  $\frac{4702010200-138}{083(02)-87}$  186—87

ББК 84.Р7.

*Составители:*

*Всеволод Борисович Азаров*

*Семен Владимирович Ботвинник*

*Юрий Александрович Скородумов*

---

**ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1987**

---

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1987 г. 224 стр. План выпуска 1987 г. № 186. Редактор Н. А. Милосердова. Худож редактор Б. А. Комаров. Техн. редактор Л. П. Полякова. Корректоры Е. Д. Шнитникова и Э. Н. Липпа.

ИБ № 6085

Сдано в набор 02.03 87. Подписано к печати 18 08 87. М 15039 Формат 70 × 100<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,20. Уч.-изд. л. 15,94. Тираж 50 000 экз. Зак № 889. Цена 1 р. 70 к

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

